



Такая смешная любовь

Анна Богданова

Внебрачный контракт

«ЭКСМО»

Богданова А. В.

Внебрачный контракт / А. В. Богданова — «Эксмо», — (Такая смешная любовь)

Что делать девушке, если не везет в личной жизни? Что угодно — только не бросаться под машину. Дуня Перепелкина и не бросалась — она просто спасала ежика, решившего подремать посреди шоссе. И вот теперь перед ней пронеслась вся жизнь: детство, юность, любовники, придурочный муж, к счастью уже бывший. Ничего хорошего... А ведь где-то живет на свете ее первая любовь — потомок ассирийских владык Варфоломей, с которым у Дуни, к сожалению, не могло быть будущего. Дело в том, что по взаимному договору родителей он должен был жениться на другой девушке. И Варфоломей, скорее всего, женился...

Содержание

Полет	5
Часть первая	9
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Анна Богданова.

Внебрачный контракт

Полет

Я умерла в полночь. Если быть совсем точной, то без пяти двенадцать (я еще на часы успела посмотреть – гляжу, двадцать три часа пятьдесят пять минут). Потом – свет фар, визг тормозов – вжик! Трррр! Тсзззззззз! И меня не стало.

Но главное даже не в самом факте моей кончины, а в том, что смерть моя вышла до крайности глупой и несвоевременной.

Впрочем, чему ж тут удивляться? Она была настолько же нелепой и абсурдной, как и вся предшествующая ей жизнь. Обидно! Лишь к тридцати годам, после восьмилетней совместной жизни с распушенным невротиком, после развода с ним, когда я наконец-то поняла, какой именно человек должен быть рядом со мной и чей образ не выдуман мною – он существует на самом деле, – меня постигла трагическая смерть. Только вот где он теперь? Этого я не знала. Через полгода после развода с Геннадием Дубовым, законченным психопатом, меня вдруг осенило: а что, если попытаться найти свою первую любовь? Моего прекрасного, щедрого и немногословного ассирийского принца Варфоломея, в которого я со всей пылкостью и страстностью шестнадцатилетней девчонки влюбилась четырнадцать лет тому назад? Он ведь тоже души во мне не чаял четырнадцать лет назад, в свои восемнадцать. Даже кольцо на память подарил – древнее кольцо с рубином, которому теперь и цены-то нет и которое в его роде передается из поколения в поколение – от жениха к невесте.

По преданию (а именно на основании приложения мидоперсидских источников), перстень этот сам Нин – основатель ассирийского могущества – преподнес своей будущей жене Семирамиде, азиатской завоевательнице и строительнице Вавилона. Засим кольцо было передано сыну Нинию, который, надо сказать, отличался редкостной бесхарактерностью и мягкотелостью и так далее, – затем переходило оно еще к тридцати трем государям; попало к Сарданпалу – тому самому, который предал пламени дворец вместе с собой, дабы не отдаться живым в руки осаждавших его вассалов. И так далее, и тому подобное... Пока не добралось до принца Варфоломея, который, питая к моей персоне самые нежные чувства, не преподнес его мне. Правда, после сего поистине царского подарка на моего любимого обрушились его родственники, чему я была свидетельницей: спрятавшись за дверью на веранде под виноградными шпалерами, я слышала все. Вернее, то, что было сказано на русском языке, но мне и этого хватило. Оказалось, что у Варфоломея уже была невеста – ассирийка по имени Хатшепсут (нечего сказать, странное имя – наверное, ее называли так в честь египетской царицы, которая с 1525 по 1503 год до нашей эры умудрилась профукать владения Египта в Палестине и Сирии и выходила к подданным, натянув на подбородок чужую бороду, старательно изображая из себя фараона) и что после армии он непременно должен жениться на ней, предварительно подарив ей тот самый перстень, который уже красовался у меня на безымянном пальце левой руки.

– Мужчина привязан за язык! – напористо вразумляла его мать. – С нас хватило Марата! Он женился хоть и на ассирийке, но не из нашего рода. Этой семейке все равно, за кого выдавать своих детей! Лишь бы пристроить! Ты прекрасно знаешь, именно из-за нашего негативного отношения к выбору Марата мы лишили его кольца! Так ты оказался еще хуже! Вон что удумал!

– Обещание свободного – долг! – вторил отец.

– Я ничего не обещал Хатшепсут! Не знаю, о чем вы договаривались с ее родителями! Меня это не касается! Сами женитесь на ней, раз вас за язык привязали! – негодовал мой принц.

– Эта русская девушка – всего-навсего гостя, а наш народ гостеприимный! – шептала мать. – С приходом гостя в дом приходят счастье и радость, но существуют и правила поведения в чужом доме! И первое из них – пришелец не должен вмешиваться в дела семьи.

– Гость не должен слишком долго оставаться в чужом доме!

– Ага! И не должен слишком много пить и есть! – усмехнулся Варфоломей.

– Да! Ходи в гости через день – и ты завоеешь любовь, гласит народная ассирийская поговорка! Тут нет ничего смешного! И ты, Варфик, все равно женишься на Хатшепсут! Мы закажем точно такое же кольцо ювелиру и подарим ей в день помолвки!

– Не выйдет! Я никогда не женюсь на Хатшепсут! У нее уже в пятнадцать лет борода растет! Представляю, в кого она превратится к тому времени, когда я приду из армии!

– Ну и что! Подумаешь, у девочки повышенная растительность! Это не смертельно!

– Хватит! – прогремел глава семейства. – Ты прекрасно знаешь, что наши мужчины женятся только на ассирийках! Это традиция! Нас и так осталось не слишком много!

– Расисты! Я никогда не женюсь на вашей образине!

За дверью перешли с русского на современный ассирийский язык, и понять, о чем говорилось далее, я уж никак не могла, но мне было достаточно и того, что я услышала. Через двадцать минут на веранде появился Варфик и сказал, что любит только меня и будет любить всю оставшуюся жизнь.

– А перстень никогда не снимай с руки. Пусть он напоминает тебе об этом.

Потом я улетела в Москву, мы еще какое-то время переписывались, через месяц Варфоломей навестил меня – он был проездом в Москве, и наша встреча длилась всего два часа... Потом я переехала на новую квартиру, мы потеряли связь друг с другом, и все закончилось: у меня началась своя жизнь, и у Варфика, вероятно, тоже.

И вдруг мне в голову засела мысль отыскать его. Я часто вспоминала своего принца, глядя на кровавый рубин перстня, но о том, чтобы найти его, не думала никогда. А если я разыщу его? Что скажу? Как ответить на вопрос – зачем я его искала? Возможно, Хатшепсут избавилась от повышенной растительности, сделала пару пластических операций и теперь – красавица хоть куда! Может быть, они с Хатшепсут счастливы в браке, и у них много детей – пять мальчиков и пять девочек? А тут я – без всякой видимой причины, как снег на голову! Однако все эти вопросы, хоть и посещали меня, изгонялись самым решительным и беспощадным образом. Я загорелась! Мне приспичило! Да! Вот так вот! В крайнем случае разыщу, посмотрю на него и уеду обратно в Москву! Так думала я месяц тому назад, но поиски мои оказались тщетными – я то нападала на след любимого, то вновь теряла его...

...И все-таки досадно – и жизнь глупая, и смерть глупая, и я сама, наверное, была очень глупая. Хоть бы для разнообразия отход мой в лучший мир мог нести в себе какой-то смысл или быть красивым! К примеру, пала бы я на поле боя или умерла бы на сцене, доиграв до конца свою роль... и вдруг под бурные овации ноги мои подкашиваются, и я, как в замедленной киносъемке, плавно опускаюсь на пол без чувств. Или, спасая жизнь другу, я заслоняю его собой и отдаю богу душу на его благодарных руках.

Но нет, все случилось совсем не так! Я спасала не друга, не случайного прохожего, не ребенка и даже не собаку или кошку. Если бы я жила в Америке и, соответственно, там умерла, вне всяких сомнений, мои родственники бы получили приличную денежную премию за мою смерть, как за одну из самых бессмысленных. Я где-то читала, что один мужчина, выключив свет, улегся в постель, закрыл уже глаза, приготовившись увидеть чудесный сон, как в ночную тьму комнаты врезался телефонный звонок. Бедняга схватил с прикроватной тумбочки трубку, крепко сжал ее, но «хелло» сказать не успел, потому что за телефонную трубку принял в тем-

ноте лежавший рядом револьвер. Нечаянно нажал на курок, и... его родные получили много денег и, наверное, растерялись на похоронах – они не знали, что им делать: оплакивать покойного или, не скрывая своей радости, веселиться упавшим с неба долларам.

Я же решила спасти ежика. Он сидел на дороге, разделяющей деревню Хаврюшкино, что находится в сорока километрах от Москвы, на две части, а я возвращалась к себе от подруги, которой до полуночи изливала душу о несчастной, неудавшейся любви своей.

Полная луна, словно прожектор, вмонтированный в небо, ярко освещала деревянные домики, белые стволы берез, даже плакучую иву у пруда на окраине и длинные иголки большого, видимо, уже старого ежа на асфальте.

Я подошла к нему вплотную и топнула ногой, надеясь, что он сразу убежит, почувствовав опасность, но мои расчеты не оправдались.

– Ты что, дурачок? Ты что посреди дороги уселся? – спросила я, но ответа, понятно, не услышала. – Иди отсюда! Тебя ведь машина задавит! – крикнула я и принялась прыгать возле него. Он продолжал сидеть. «Упрямый какой! – рассердилась я. – А может, он неживой? – вдруг пришло мне в голову, и я, сев на корточки, дотронулась до его черного кожного носа – иголки поползли на мордочку – ежик свернулся в клубок. – Он, наверное, глухой и слепой! Не оставлять же его тут!» – и я решила во что бы то ни стало убрать ежа-инвалида с дороги, а потом вынести ему блюдце молока и половинку яблока. От предвкушения кормления слепоглухого ежика тепло наполнило мою душу, и я приступила к ликвидации «старикана» с пустой автотрассы.

Конечно, можно было бы просто наподдать представителю семейства млекопитающих отряда насекомоядных ногой, но подобное и в голову мне не могло прийти! Во-первых, в открытых босоножках я исколола бы все пальцы, а во-вторых, это ведь не футбольный мяч, чтобы его подбрасывать!

Сначала я пыталась ухватить его подолом длинной юбки – безрезультатно: все руки испещрены иголками – еж упорствует. Я огляделась, схватила длинную разлапистую ветку (кажется, липовую) и принялась ею, словно веником, выметать слепоглухого «старикана» с трассы. Ветка переломилась – еж-инвалид не сдвинулся ни на миллиметр.

Я все больше входила в раж от процесса спасения бедного животного и твердо решила, что никуда не уйду с дороги, пока не уберегу его от нависшей угрозы. Мне казалось совершенно недопустимым бросить зверька тут, ночью, на проезжей части. Я живо представила, как по нему проезжает грузовик (в этот момент почему-то нарисовался именно грузовик), и от моего маленького колючего дружка остается мокрое место. Чем дольше я стояла возле него, тем больше трогала меня его дальнейшая судьба – он за несколько минут стал мне близким и родным. «А может, это и не еж вовсе! Может, ежиха! Кормящая мать! И где-нибудь в лесу ее ждут ежата-малютки! Что же делать-то?! Неужели малыши никогда не увидят свою мать?!» – думала я, комок подступил к горлу, и слезы сами собой навернулись на глаза.

Я посмотрела на часы – они показывали 23.55 – и все-таки пошла на крайнюю меру:

– Прости, но по-другому никак не получится, – извинилась я перед ежихой и ударила по ней, как по футбольному мячу. В это мгновение все и произошло – свет фар, визг тормозов:

– Вжик! Трррр! Тсзззззззз!

Я почувствовала ужасающую, резкую боль каждой клеткой своего существа и, конечно, ничего не поняла. Боль быстро прошла, тело мое стало легким-легким, словно пушинка, – настолько, что закон земного притяжения никак не мог более удерживать его, и я полетела. Все выше и выше – над трассой, над деревней, над плакучей ивой у пруда на окраине, над полями, над нашим домом и домом моей лучшей подруги Людки, которой я изливала душу весь сегодняшний вечер, плачась о своей несчастной любви, вернее, о том, что мне так и не удалось разыскать объект моей сердечной склонности... Как вдруг парение мое кем-то или чем-то было остановлено, и я повисла в воздухе над тем самым местом, где только что сидела ежиха. Теперь

там стояла темная длинная иномарка и, привалившись к фаре, полулежала-полусидела... я! Какая-то отяжелевшая, ватная, неживая. Из машины выскочил высокий, хорошо сложенный мужчина (мой, наверное, ровесник), бросился ко мне, вцепился в плечи, затряс, что-то шепча. На моем пальце в холодном лунном свете блеснул кровавый рубин древнего перстня, подаренного мне при разлуке давным-давно, в далеко ушедшей юности, первой моей любовью – восемнадцатилетним ассирийским принцем...

Последнее, что я увидела, – это небольшой овражек у трассы. В высокой, едва пожухлой августовской траве сидел еж, высунув из-под иголок курносую, поднятую к небесам мордочку.

После этого я очутилась в крошечной темноте. Я стремительно двигалась куда-то, но непонятно – вперед или назад, вверх или вниз. «Вероятно, я умерла», – догадалась я, и – удивительно! – это словосочетание не вызвало во мне ни страха, ни ужаса, как обычно бывает при жизни. – Напротив, невероятное и неиспытанное еще до сих пор спокойствие и умиротворение овладело мною. Странно, но даже неизвестность и темнота (какая, наверное, может быть только под землей, да и то на большой глубине) не вызывали ни трепета, ни беспокойства. Вскоре далеко-далеко я увидела свет – мягкий и одновременно яркий, белый, лунный, но в то же время он не был холодным – наоборот, он притягивал к себе своей теплотой – именно теплотой, а не раскаленным огненным пламенем. И мягкость, магнетизм и теплота казались теперь совсем другими понятиями – неземными: все они несли в себе несколько иную смысловую нагрузку, чем ту, привычную, какую мы имеем в виду, когда произносим эти слова. Сейчас они открывались в своих переносных значениях. К примеру, тепло в первую очередь воспринималось мной теперь не как нагретое состояние чего-либо, а как доброе, отрадное чувство, мягкость – это отнюдь не свойство чего-то легко сжиматься, а кротость и снисходительность. Также дело обстояло и с магнетизмом.

Сколько я летела – не знаю, потому что времени, как я поняла, не существует – это люди придумали для себя циферблат со стрелками, чтобы, подобно им, крутиться целыми днями по одному и тому же кругу, не отступая от установленных привычек, сна и регулярного приема пищи. Я осмотрелась и поняла, что движусь по туннелю, сужающемуся в конце – там, где маняще полыхал яркий притягивающий свет.

Наконец я долетела до него – вот-вот, и я попаду в то место, что пугает людей всего земного шара своей неизвестностью. «И мне совсем не страшно! Совсем не страшно!» – Казалось, что я кричу.

И вдруг на той разделяющей свет от тьмы полосе меня подняла ввысь какая-то сила – такое впечатление, что я оказалась на гребне огромной штормовой океанической волны, – и с силой вынесла меня на свет.

Часть первая

Нежный возраст

– Делов-то! Стоило так кричать! – недовольно буркнула толстая тетка в медицинском колпаке, халате и клеенчатом фартуке и, ловко усадив мое пятидесятисантиметровое тельце на огромную ладонь свою, ка-ак треснула меня по заднице. «Ни слова не скажу! Не дождется!» – подумала я, и опять удар по мягкому месту – такой, что искры из глаз посыпались.

– А-а-а! – заорала я, как сирена, так что тетка сама, видать, была не рада, что шлепнула меня во второй раз.

Я, продолжая вопить, оглядывалась по сторонам – интересно все-таки, куда это я попала? Какая-то комната, выкрашенная в бледно-салатовый с голубоватым оттенком цвет; сквозь замазанное белой краской окно сверху, просачиваясь, врывается солнечный свет. Напротив, на стене – круглые часы показывают 13.45. «Значит, время снова существует, – промелькнуло у меня в голове. – Стало быть, я опять попала туда же, откуда пришла!» На кресле полулежала симпатичная девушка с измученным бледным лицом. Ба! Да это ж мамочка моя!

– Не хочу оставаться тут! Мама! Роди меня обратно! В туннель! Там нет времени, там спокойно, там есть к чему стремиться! Не желаю снова бегать по кругу, как белка в колесе! – кричала я, но на это мое требование никто не отреагировал – окружающие вообще не слышали, казалось, ничего, кроме моих невразумительных сигнализационных воплей.

Кончилось все тем, что меня, будто деревянное поленце, запеленали и положили рядом с точно такими же «поленцами», предварительно прицепив по рыжей клеенчатой бирке на ногу и на руку, подписанные «Матрена Перепелкина». Но это только на первый взгляд все младенцы, что лежали и горланили от голода, были такими же, как я. Совсем нет! И вообще, может, они вовсе не есть хотели, а со мной желали познакомиться, потому что я коренным образом отличалась от остальных грудничков – я среди них была единственной представительницей женского пола.

«Ничего не понимаю! Мне что, придется прожить собственную жизнь во второй раз? Это и есть загробная тайна?» – поразила я и вдруг увидела, что малыш, лежащий слева, смотрит на меня голубыми глазами, не моргая. Думает, я приду в восторг от цвета его глаз!

– Да у всех младенцев в первые недели глаза голубые! – сказала я ему, и он горько заплакал.

Несомненно, все это уже было в моей прошлой жизни – маму мою действительно зовут Матрена Ивановна, а фамилия у нее тогда была Перепелкина, и она мне раз сто рассказывала, что я в палате была единственной девочкой – остальные семь младенцев были мужского пола. И что однажды меня с кем-то перепутали, и ей принесли кормить парня.

– Я сразу почувствовала – что-то тут не так! – говорила мама. – Запах какой-то не твой, и в грудь как вцепится! Ну, настоящий мужик!

«Вот где нужно свою судьбу устраивать! Вокруг семь настоящих мужиков, смотрят на меня, аж шеи свернули, есть просить перестали, а я случаем не пользуюсь – в той жизни всех проворонила, теперь надо быть умнее!» – решила я, однако привлечь внимание сильного пола не так-то легко, когда ты закутана в пеленки с головы до пят, словно гусеница в кокон. Единственное, что мне удалось сделать, так это примириться с соседом слева, и в знак глубочайшего своего расположения к нему я подмигнула, словно давая знать – мол, ты мне тут больше всех нравишься.

Потом повернулась к кавалеру справа и моргнула ему другим глазом, сказав при этом:

– Если живешь по соседству, вместе будем в колясках прогуливаться, – и назначила ему свидание ровно через месяц и десять дней во дворе у второго подъезда в два часа дня, ибо я

знала, что именно в этот день и час родительница моя решит впервые выгулять свое чадо. Но, кажется, этот крикливый петух ничего не понял – он таращился на меня с минуту, а потом вдруг как зальется!

Многие говорят: «Если б мне была предоставлена возможность прожить жизнь заново, я бы сделал то-то и то-то, а того-то и того-то совсем бы делать не стал!» Все это чепуха, скажу я вам! Ничего нельзя изменить! За неделю пребывания в роддоме в обществе семи человек мужского пола я так и не смогла ни с одним из них свести знакомство, не говоря уж о чем-то большем! Даже тот сосед, что постоянно лежал по правую сторону и умудрился побывать сыном моей матери по причине халатности медицинского персонала, не появился через месяц и десять дней в нашем дворе у второго подъезда в два часа дня. После этого уже можно было сделать вывод о противоположном поле и впредь не попадаться на их дешевые подмигивания, томные взгляды и отказы от еды. Однако неудачи с мужчинами никогда не вразумляли меня, а, напротив, лишь воодушевляли на новые, порой совершенно безрассудные, сумасбродные, поистине сумасшедшие подвиги. Чего уж тут изменишь? Не пойдешь ведь против обстоятельств!

На третий день нашего с матушкой пребывания в роддоме меня, как обычно, ближе к вечеру принесли к ней «ужинать».

– Девочки, – робко проговорила очень интеллигентная тетенька в очках (ей мальчика не давали, потому что молока у нее не было – похоже, и груди как таковой у нее тоже не было), – мне так стыдно! Так стыдно! – И она залилась краской.

– Ирка! Что опять случилось-то?! – спросила Клава, грубоватая девица с тоненькой длинной косичкой, небрежно перекинутой через плечо на мощный бюст, которая перед кормежкой вечно поджидала нас в коридоре, а заведя, бежала оповестить палату: «Девки! Готовьтесь! Их уж погрузили и везут!»

– Кажется, я сейчас сделаю кое-что неприличное, – пискнула интеллигентка, и лицо ее стало красным, как помидор.

– Валяй!

– Боюсь, упущу! Точно, упущу! Всю кровать испачкаю, и все тогда!

– Так беги в туалет! Скорее! – скомандовала моя родительница.

– Беги! – пробасила девица с косичкой.

– Не могу я! У меня ведь швы!

– Судно! Вот судно!

– Не смогу я в судно!

– Это почему?!

– Не сосредоточусь я при вас!

– Не дури! На судно! – Клава нетерпеливо трясла перед ее смущенным лицом бледно-желтой эмалированной уткой.

– Поздно уже! Упустила! Я так и знала! – И Ира заплакала.

– Девки! Смотрите! Это чей это?! Это чей это мужик в одном костюме и в белой шляпе по водосточной трубе наверх карабкается? – Клава от неожиданности даже от окна отшатнулась, выпустив из руки судно. – Конец января, а он без пальто! Ой! Ха! Ха! Ха! – закатилась она. – Шляпу ветром унесло! Ой! Не могу! Идите, посмотрите! Вот умора! Внизу баба какая-то пьяная ее ловит и кренделя ногами выделяет! Вроде приличная на вид!

– Ну все, Аделька! Это по нашу душу! – прошептала мамаша и, поднявшись с койки, понесла меня к окну так осторожно, словно стекло в мыльной пене. – Алексей Петрович! Поезжайте домой! Немедленно!

– Матрен! Это твой муж? – с нескрываемым любопытством и ужасом спросила Клава.

– Девочки! Кто-нибудь! Позовите нянечку! – выдавила из себя девица в очках.

– Свекор! – ответила мама.

– А-а, – понимающе и даже с облегчением протянула Клава, в то время как Алексей Петрович с жаром барабанил в окно, требуя показать внучку.

– Вот! Вот! Смотрите и поезжайте домой! – злобно прокричала мамаша, интенсивно раскрывая рот, надеясь, что свекор поймет ее по губам.

– Да сто з это за палата-то такая! – возмущалась санитарка – дородная бабка с проваленным беззубым ртом. – Позему посторонние за окном! – прозвучало как «человек за бортом». – И сто это за вонь у вас какая-то? Фу! Сто это? А? – И крылышки ее носа быстро задергались. – Опять кто-то обделался! Мерзавки! Поганки! Опять белье менять! Паразитки! – Она еще что-то кричала, но я уж не слышала, потому что меня «погрузили» в тележку вместе с «настоящими мужиками» и увезли вон из скверной палаты.

А еще через четыре дня меня, закутанную в одеяло, с прикрытой от ветра кружевным уголком физиономией, мамаша вынесла на улицу. На сей раз познакомиться с родным отцом мне не удалось, потому что в это время он служил в армии, а нас вместо него встречал его двоюродный брат Григорий, очень похожий на маминого мужа. Настолько, что нередко его просили побыть за Диму (т.е. за моего папашу), так как последний в самые ответственные и торжественные моменты отсутствовал. Спасало моего загадочного отца лишь то, что отлучки его носили исключительно деловой характер и всегда оправдывались уважительной причиной – будь то служба в армии или поступление в военное училище. Да, да! Военное училище. За день до свадьбы с любимой своей Матреной, которую он, надо заметить, добивался самыми отчаянными способами – умолял будущую тещу, которую стал называть «мамой» задолго до бракосочетания, обещал горы золотые, говорил, что повесится, если та ответит отказом на его предложение и выдаст дочь за кого-нибудь другого. Все эти доводы тронули сердце «мамы», тем более что ее непутевая дочь уж была на третьем месяце беременности, но самое главное, что повлияло на положительный ответ Зои Кузьминичны (моей теперь бабушки), так это то, что Дмитрий совершенно очаровал ее со всех сторон – как внешностью, так и внутренними своими душевными качествами. И ничто теперь не могло изменить ее решения: ни то, что Дима Перепелкин считался самым отъявленным хулиганом школы, ни протесты любимого первенца Леонида, ни то, что молодым лишь три месяца назад исполнилось по восемнадцать лет. На бабушку слишком сильно повлияли двухметровый рост жениха дочери, сорок пятый размер его обуви, волевой подбородок, контраст темных волос его с голубыми ясными глазами. Теперь она во всем видела знаки, которые были ниспосланы свыше – будь то беременность дочери или тот факт, что родители мои появились на свет в одном роддоме, в один и тот же год и день. И она в конце концов сказала «да».

А за день до свадьбы Дмитрию Перепелкину взбрело в голову отправиться то ли в Саратов, то ли в Рязань поступать в военное училище. Поцеловав невесту, он заверил ее, что уже к вечеру будет дома, и уехал. Но ни к вечеру того же дня, ни ночью, ни следующим утром он не вернулся. Обстановка становилась все напряженнее – исчезновение жениха повергло всех родственников в ужас – никто не знал, что делать и что предпринять, никто уже не верил в то, что свадьба вообще состоится. Приглашенные нервно ходили по двору, то и дело прикладывая ладонь ко лбу козырьком, всматриваясь вдаль – не появился ли жених вдалеке, меж хрущевок, в буйном майском цветении сирени.

Во всей этой сложившейся наэлектризованной обстановке сохраняла полное спокойствие лишь мать Димы (т.е. моя вторая бабушка). К одиннадцати утра она на радостях уже пропустила стаканчик-другой (да и, наверное, третий с четвертым) крепленого вина и, разложив прямо на лавке у подъезда штук пятьдесят синих кур, неторопливо и обстоятельно общипывала первую.

– Ой! Прасковья Андреевна! Ну что вы делаете! Жениха нет! Ничего не готово! – подлетев к сватье, возмущалась предполагаемая теща.

– Будет жених! – упрямо ответила та, швырнув лысую курицу через плечо к себе на кухню первого этажа.

– Откуда ему взяться! И что вы пьете-то раньше времени!

– Радуюсь! А жених будет! – настаивала сватья.

– Нет, откуда ему взяться?! Вы мне скажите! Откуда?

– Гришка! – на выдохе пьяно гаркнула Прасковья Андреевна, и из дома выскочил двоюродный брат моего отца. – Женихом сегодня будешь! – отрезала она, запульнув очередную курицу в окно.

– Как это?! – опешила бабушка. – Я не позволю!

– Тут не до позволю-не позволю! Гришка на Димку похож? – Она в упор посмотрела на будущую родственницу и сама же ответила: – Похож.

– Но дело-то не в их сходстве!

– В чем же? – Судя по всему, сватья устала говорить и изъяснялась короткими предложениями, упуская из речи ненужные, второстепенные, сорные, по ее мнению, слова.

– В паспорте! Как вы не поймете-то?

– А пачпорт Митенька забыл, оставил. Вот он, пачпорт! – На порог вылетела худая, сутулая, беззубая бабка с бесконечным носом – старшая сестра Прасковьи Андреевны. – Гришка пойдет вместо Мити с его пачпортом.

– А как же ваш Митенька без паспорта в училище поступит?

– Вот его и нету-тить так долго поэтому. Его там, наверное, спрашивают – где, мол, пачпорт, а он им доказывает, что дома, – рассудительно объяснила Галина Андреевна.

– Так-то! – торжествующе воскликнула Прасковья Андреевна и принялась кидать в окно неошипанных кур – видно, занятие это ей порядком поднадоело – решила, что и опущенная дичь на столе – тоже совсем неплохо.

Надо сказать, дядя Гриша вполне мог бы сойти за моего отца – между ними действительно наблюдалось поразительное сходство. Однако они не были близнецами, более того – приходились друг другу всего лишь кузенами. Черты лица Григория были более грубыми и ярко выраженными, нежели у брата. К примеру, волевой подбородок отца у дяди Гриши казался выдвинутой челюстью, крупный нос – длинным, голубые глаза – выцветшими, полинялыми какими-то...

Уж все куры горой были навалены на полу в кухне, Прасковья Андреевна прилегла на кушетку возле них отдохнуть – вздремнуть часок-другой, Григорий натягивал свадебный костюм кузена, невеста рыдала, ее мать закатывала глаза к потолку, пытаясь дощипать неошипанных сватьей птиц, как в этот момент нарисовался жених в разорванной в клочья рубашке и с разбитой физиономией.

Прасковья Андреевна открыла один глаз и весомо сказала:

– Дурак, – и перевернулась на другой бок.

– Подрался в поезде с одной сволочью! – доложил тот.

– Ну что, подал документы в военное училище?! – сквозь слезы спросила невеста, повертев паспортом перед его носом.

– Слада, я ж не нарочно его забыл! Я так спешил, так спешил! Успел ведь! – Он крепко заключил в объятия «маму» с невестой и, проникновенно глядя то на ту, то на другую, крикнул: – Гришка, а ну-ка снимай мой костюм!

И все дурные мысли, опасения, сомнения в одну минуту были развеяны – теща смотрела на зятя с подобострастием и гордостью одновременно, взгляд невесты был переполнен нежностью и любовью.

Свадьба удалась на славу – жильцы двух подъездов (второго, где жил жених, и четвертого, где обитали невеста с матерью и старшим братом) одного дома высыпали на улицу и с наслаждением уписывали жареных кур, несмотря на то, что иногда кому-то из них попадались

волоски и даже перышки, пили горькую за сладкую, счастливую жизнь молодоженов, закусывая салатами из свежих, только что появившихся на рынке помидоров с огурцами за П-образным гигантским столом, лихо отплясывали летку-еньку, твист и шейк, ломая каблуки и стирая набойки.

Через три месяца столь же бурно провожали в армию Дмитрия Перепелкина, а еще спустя три месяца ко второму подъезду пятиэтажного дома подъехало такси, из которого выпрыгнул сначала дядя Гриша, а потом Матрена Перепелкина вылезла со мною на руках.

Нечего сказать, я попала в странную семейку. Это сейчас, во второй раз, я уже знаю, что к чему, но представляю, какой шок я пережила, очутившись тут впервые – в прошлой своей жизни.

Квартира, в которой мне предстояло прожить некоторое время, оказалась незапертой – она вообще никогда не закрывалась, несмотря на то что располагалась на первом этаже. Всякий, кому заблагорассудится, мог бы открыть дверь ногой, затеряться в хаосе, царившем в коридоре, кухне и двух комнатах, стащить что-нибудь и удалиться так же незаметно, как и войти.

Только меня внесли в квартиру, как в нос сразу же ударил едкий и сильный, противный запах масляной краски.

– Фу! Чем это у вас тут так несет?! – крикнула с порога мама. Ответили ей не сразу. Более того, мне показалось, что дома никого не было, но через пару минут в узком коридоре появились двое, и к резкому запаху масляной краски примешался еще один – устойчивый, не менее едкий и раздражающий – спиртовой.

– Слада! – всплеснула руками женщина лет сорока пяти и от восторга, радости и пьяного бессилия тут же уронила их – теперь верхние ее конечности, яко две селетки, попавшиеся на крючки, болтались по швам. – Люба, дурак, ремонт затеял! – Ее блаженно-восторженный тон резко сменился на укоризненно-осуждающий. – Я ему говорю: «Люба – ты во!» – И она покрутила пальцем у виска. – А он говорит: успеем! Ну что, успели? Дурень ты малахольный! Дурак, – легкомысленно заключила она, махнув на него рукой в знак того, что человек он потерянный и неисправимый.

Только потом я узнала, что Любой в этой чудной семейке называли Алексея Петровича – того самого, что в белой шляпе и костюме лез на третий день после моего рождения по водосточной трубе и настойчиво барабанил по стеклу, требуя, чтобы ему немедленно показали внуку. Это был склонный к полноте мужчина, на вид – лет пятидесяти, работал на мясокомбинате и всегда поражал окружающих своей способностью поутру быть в меру упитанным, а к вечеру, идучи с работы, увеличиваться в размерах чуть ли не вдвое. Затем, на славу пообедав, он по обыкновению выходил во двор поиграть в карты или в домино, и снова соседи видели не тучного и опухшего какого-то Петровича, а лишь в меру упитанного. Разгадку сих метаморфоз знали лишь домочадцы и свято хранили ее даже от меня, а я, в свою очередь, только и делала, что, оторвавшись от материнской груди, а затем и от рожка, сначала сосала, словно лимонные кондитерские дольки, сырокопченую колбасу, а когда прорезались зубы, с азартом рвала ее клыками. Через несколько лет великая тайна открылась и мне: дедушка-голубчик таскал с родного мясокомбината колбасу (предварительно разрезав ее вдоль) в рукавах, внутренних карманах пиджака, за поясом и даже в штанах (что придавало ему необыкновенную мужественность). Нехорошо, конечно, но зато родные и близкие были сыты и счастливы.

Впоследствии оказалось: в семье, куда я попала, все называли друг друга какими-то подозрительными именами, можно даже сказать, кличками, причем малообъяснимыми и необоснованными: дедушку-несуна, как уже было выше упомянуто, – Любой, что для меня по истечении тридцати лет так и оказалось загадкой. Не из-за большой любви супруга так величала своего мужа! Саму бабушку – Прасковью Андреевну – дома называли Фросей. Лет до двадцати я была уверена, что полное ее имя Ефросинья и что Паня (как иногда звала ее я) – это

всего-навсего производное от Ефросиньи. Величайшим открытием для меня стал тот факт, что Фросей ее окрестили после выхода фильма «Приходите завтра» – мол, из-за того, что у Прасковьи Андреевны был точно такой же сильный голос, как у героини фильма – Фроси Бурлаковой, и точь-в-точь такие же длинные, густые косы. Однако кос я не застала – к моему рождению великолепная бабушкина шевелюра только и делала, что сушилась отдельно от своей обладательницы на батарее, и прикреплялась к голове лишь в самых исключительных случаях – например, тогда, когда ей разрешалось погулять со мной после работы часок-другой. Как, впрочем, не застала и ровного ряда мифических зубов, от которого остался один передний верхний резец. А работала она упаковщицей на молокозаводе, причем очень хорошо – даже грамоты получала за высокую производительность труда. И в отличие от своего мужа – расхитителя общественной собственности – приносила домой не продукт питания, получаемый от домашних коров, а рулоны плотной бумаги, на которой, кроме красных и голубых треугольников с надписью «молоко пастеризованное», ничего другого нарисовано не было. Бабушка надевала белый халат, варила клей и трудилась сверхурочно, потому что работа была сдельная. Но корпела она над своими пакетами только в те дни, когда не сотворяла возлияния Бахусу. Тут непременно надо заметить, что никто и никогда в нашем дворе, где все было, как на ладони, и все знали друг друга, как самого себя, и помыслить не мог, что ударница труда Прасковья Андреевна Перепелкина может злоупотреблять спиртными напитками. Не знала об этом и моя мама, покуда не переехала на постоянное жительство с пятого этажа четвертого подъезда на первый этаж второго подъезда того же дома. Упаковщица молочного завода, даже находясь в крайней степени опьянения, за всю свою жизнь ни разу не высунула носа из дома! Хотя она и любила попеть песни и подрать глотку, убежденная в том, что вокальные данные у нее ничуть не хуже, чем у Фроси Бурлаковой, ее, несмотря на тонкие стены наскоро выстроенных хрущевок, не слышал никто. А пристрастилась бабушка к зеленому змию незаметно ни для кого. Лет десять до моего рождения в знойный день утолила она жажду холоденьким бочковым пивом и, поняв, что это совсем недурно, буквально на следующий же вечер составила Любе компанию по случаю его зарплаты. И так пошло и поехало под предлогом «Чтобы Любе меньше досталось!». В скором времени Любе не доставалось практически ничего, и он, получив зарплату, шел не домой, а в пивнушку.

– Э-эх, бабка! – многозначительно сказал Люба, прищурив и без того свои заплывшие маленькие глазки.

– Покажи, покажи внучку! – И бабушка дотронулась до моего подбородка холодной рукой, пахнувшей селедкой. – Ну копия Митенька! Копия! Когда я его родила, он был точно таким же маленьким! – с гордостью заявила она.

– Квадрат 136! Цельсь! Пли! – ни с того ни с сего, чуть пригнув голову, словно уберегая ее от только что просвистевшей пули, скомандовал дедушка.

– Молчи, Люба! – приказала бабушка и ласково, даже несколько виновато проговорила: – Слад! Идите, посмотрите, мы ремонт на кухне делаем!

– Нашли время! – возмутилась Слада, но все-таки прошла взглянуть на работу свекра со свекровью.

...Над кособоким, заваленном грязными тряпками, банками, кисточками и прочим хламом столом, посреди которого стрелой возвышалась бутылка пшеничной водки, красовалось три размашистых мазка бешеного василькового цвета, напоминающих знак, что оставлял на стенах защитник всех угнетенных – таинственный мститель Зорро. Должно быть, у бабушки с дедом вышел горячий спор по поводу того, как правильно красить стены – вода валиком сверху вниз по стене или слева направо. Тот из них, кто был убежден во втором варианте, провел горизонтальную линию, после чего, наверное, они повздорили, потом помирились и, подкрепив примирение это стопкой водки, решили попробовать первый вариант, проведя косую линию нетвердой, обмякшей рукой. Потом снова завязался спор – куда, мол, не годится этот

первый вариант! – в подтверждение чего опять была сделана линия слева направо, и получилось латинское «Z».

– Мы только вчера начали, – этим бабушка попыталась оправдаться. Мама хотела было что-то сказать, как в этот момент, гремя кастрюлями, в коридор ворвалась дородная женщина пятидесяти четырех лет в пальто бутылочного цвета с искрой и в вишневом берете, с розовой и голубой лентами, завязанными на локте пышным бантом.

– Матренушка! Здравствуй, доченька! Ой! Пока ты рожала, меня чуть удар не хватил! Все думаю – как да что! В лотерею выиграла! Первый раз в жизни! Представляешь?! Рубль! Решила ленты купить! Внушенька! Дай мне ее! Фрося, возьмите у меня судочки! Тут первое и второе!

– Ну зачем ты, мама, по двору с кастрюлями!.. Ведь сплетни пойдут, что ты из детского сада обеда таскаешь!

– Плевать я хотела! Мне предлагают, я и беру! Что ж, отказываться? Супик гороховый и мятая картошечка с котлетками! Что отказываться! У-тю-тю! У-тю-тю! – сахарным голосом запела она. – К чему вот вы ремонт затеяли?! Прямо как будто у вас совсем головы нет, ни у того, ни у другого! – Голос ее мгновенно переменялся – стал жестким и требовательным. – И пьете опять! Тьфу!

– А это мы на радостях! На радостях! Внучка ведь родилась!

– Так вот оно, значить, – поддержал жену Люба.

– У-тю-тю, у-тю-тю! – Меня принесли в маленькую комнату и положили на кровать. – Давай знакомиться, малышка! Давай? Я твоя бабушка – твоя первая бабушка – Зоя Кузьминична, Фроська – твоя вторая бабка. Поняла? Поняла! Поняла! – умилилась первая бабушка. – А как тебя зовут? А? У-лю-лю! У-лю-лю! Скажи: Евдокией меня зовут! Евдокия Дмитриевна Перепелкина!

– Ничего подобного! Никакая она не Евдокия! Аделаида она! – возмутилась мама.

– Что это за имя какое-то непонятное? Да? Дунечка! Скажи: мама наша с ума сошла, чтоб имена такие ребенку давать! Да?

– Я ее рожала, и как хочу, так и называю! Хватит и того, что ты меня Матреной окрестила!

– А чем тебе твое имя-то не нравится? Неблагодарная!

– А чем оно может нравиться? Матрешка какая-то! Мотря! Ты хоть удосужилась бы прежде, чем давать мне такое имя, узнать, что оно означает! Матрона – почтенная замужняя женщина! – отчаянно выпалила моя родительница.

– Не вижу ничего зазорного! Ведь не женщина легкого поведения! Назови ее Евдокией! – В голосе звучала просьба. – Как Дусю Комкову – подругу мою! Уважь мать! И Дуся будет довольна! Несчастливая баба! Воевала, до Берлина дошла, своих детей не было никогда! – И бабушка принялась перечислять остальные заслуги своей подруги – Евдокии Комковой.

– Адель! – Мама была непреклонна.

– А ты знаешь, что Дусе пережить пришлось?! Знаешь, что такое женщина в военно-полевых условиях? Знаешь, что она вместо ваты использовала мох в критические дни?! – Это была, казалось, последняя козырная карта Зои Кузьминичны.

– Адель!

– Если ты не назовешь мою внучку в честь Дуси Комковой – потеряешь мать навсегда! Я от тебя откажусь! – выйдя из терпения, взревела бабушка.

– Адель!

– Евдокия!

– Адель!

– Евдокия! Евдокия! Евдокия!

– А что, Дуся мне очень даже ндравится! Как нашу с Хросей сестру будут звать! – послышалось с порога.

– Ее ж Алду зовут! – очнулась бабушка.

– Енто по-мордовски, а по-русски она Дуся.

– Вот видишь, и Галине Андреевне тоже это имя по душе! А то Аделаида какая-то! Еще чего вздумала!

Старшую сестру Прасковьи Андреевны – Галину Андреевну Федькину – в семье величали Сарой – то ли из-за ее длинного носа, то ли по причине природной хитрости и жадности – точно сказать не могу, баба Сара, и все. С тех пор, как я впервые увидела ее с рюкзаком за спиной и с двумя связанными веревкой сумками через плечо, словно баулами на горбе у верблюда, она ни капельки не изменилась – все та же тонюсенькая седая косица, длинный нос, беззубый рот, морщинистый лоб, хитрые маленькие птичьи неподвижные глазки; худенькая, сухонькая на протяжении тридцати лет. У нее никогда не было семьи, более того, она вообще была девственницей и жила с одной из своих трех младших сестер. Вторая сестра, Груня – мать дяди Гриши, жила в доме напротив с сыном, двухлетней внучкой и своенравной невесткой, которая любила порой от души поколотить свекровь. Баба Груня работала кассиром в винном магазине, но, несмотря на это, была кристально честным человеком. Единственным ее недостатком являлось чрезмерное влечение к тому товару, за который она с утра до вечера принимала, пересчитывала, а в конце смены сдавала деньги.

Моя тезка Алду жила далеко – в деревне Кобылкино, что под Саранском, в Мордовии, откуда, собственно, и приехала Агафья Андреевна Федькина, будучи молодой, но, я уверена, с точно такой же тонюсенькой косицей, длинным носом и глубокой морщиной, напоминающей оттиск буквы «И», появившейся на челе ее еще в юности, словно для засвидетельствования озабоченности и беспокойства об оставленных без присмотра на малой родине меньших сестрах.

Баба Сара всю свою жизнь проработала на АЗЛК (Московском автомобильном заводе им. Ленинского комсомола). В свободное время она помогала сестрам с детьми, а потом – детям этих детей. Истово верила в бога, ходила в церковь, исповедовалась, причащалась и держала в ванной, среди ободранных эмалированных тазов, наваленного горами грязного постельного и нательного белья, среди выдавленных тюбиков с остатками засохшей пасты, обглоданных до пластмассы зубных щеток и подмокших коробок стирального порошка с хозяйственным мылом, две огромные бутылки с самогоном. Сама она и капли в рот не брала – самогонку гнала исключительно для сестер и Любы, объясняя это тем, что, мол, если им вовремя не поднести – помереть могут. Грамоты она не знала и всю жизнь вместо подписи ставила крестик, зато в совершенстве владела счетом. Семь лет назад, выйдя на заслуженный отдых, она отвоевала возле городской свалки клочок земли, на котором выращивала огурцы, кабачки, зелень и даже лесную землянику и с упоением торговала плодами своего труда на крытом рынке неподалеку от дома. Нередко она оставалась на огороде ночевать, исполняя роль пугала. Только не птиц отгоняла Галина Андреевна, или баба Сара, а бессовестных и бесстыжих воров, что без ее присмотра могли бы выдрать на участке все, включая непоспевшую лесную землянику. Они с Любой соорудили там подобие шалаша и упорно называли его домом. Материалы для него они натащили с близлежащей свалки. Воткнули в землю четыре доски, накинули на них сначала выцветшую, протертую клеенку, которая когда-то служила скатертью длинному столу, через некоторое время нашли целый рулон брезента и решили им утеплить «крышу», прикрепив его поверх клеенки. Не сразу, а постепенно вырастали стены «дома»: на поржавевшую газовую плиту установили тумбочку, оторвав ей предварительно три ноги, на тумбочку водрузили галошницу со сломанной дверцей, рядом с плитой составили сколоченные один к другому деревянные ящики, к ящикам присоединился холодильник, который, вероятно, выкинули из-за того, что невозможно уж было его никак починить, затем снова шли сколоченные ящики, безногий стол, поставленный вертикально... Внутри была занесена койка с прорванной пружинной сеткой.

жиной, и последним штрихом явилось радио на батарейках, тоже, кстати, отрытое бабкой на свалке.

– Ну и ладно! Надоели вы мне все! – смирилась мама оттого, видно, что у нее уже не было больше сил спорить, в результате чего я и стала Евдокией Дмитриевной Перепелкиной.

– Дай-ка, Матроша, мне ее подержать, – попросила баба Сара, сбросив с себя рюкзак с сумками.

– Иди сначала руки вымой! – ревностно воскликнула бабушка № 1, но старуха ловко подхватила меня и рьяно, ритмично затрясла, приговаривая:

– Ай, Накулечка моя, ай, Накулечка моя! – И у меня моментально появилась помимо имени кличка, потому что существовать без нее в этой семье было никак невозможно.

– Очень хорошо, – мечтательно проговорила Зоя Кузьминична, – Евдокия, Евдося, Дуся, Дуня, Дунечка, Дуняша...

Дуняша... Только так и никак иначе звал меня мой ассирийский принц – Варфоломей.

...В шестнадцать лет я впервые без сопровождения взрослых летела на самолете и, приближаясь к Каспийскому морю полудевушкой-полуподрастом, не знала, что ждет меня впереди и что в скором времени мне суждено встретиться с тем, кого полюблю, потеряю, кого буду вспоминать и кого стану разыскивать, вступив в ту пору жизни, которая у женщин называется бальзаковским возрастом (утешает только одно: тридцать лет – это ранний бальзаковский возраст, существует еще возраст «глубоко бальзаковский»).

Болела спина – какой-то осел, сидевший позади меня, истыркал ее своими острыми коленками. Я же в шестнадцать лет была слишком замкнутым человеком, чтобы повернуться и выразить свое недовольство, поэтому мужественно сносила пинки в течение двух часов, пытаясь сосредоточиться на судьбе Консуэло, описанной Жорж Санд. Насколько удачно она это сделала – не знаю, потому что мне так и не удалось продвинуться дальше тридцать пятой страницы – сначала эти коленки в спине, потом и вовсе было не до чужих эмоций и чувств, поскольку меня наполняли, распирали и выплескивались наружу свои собственные.

Я держала путь к нашим с мамой хорошим друзьям, с коими мы познакомились на море пару лет назад, отдыхая в пансионате в соседних номерах. Это были замечательные, простые и отзывчивые люди – брат с сестрой. Но когда мы увидели их впервые, подумали, что это мать с сыном, и вовсе не из-за большой разницы в возрасте – Эльмира выглядела намного старше своих двадцати лет, а ее брат – Нур – казался совсем ребенком в свои четырнадцать. Потом мы привыкли к ним, к их внешности и тому глубоко уважительному отношению брата к сестре, которого я не замечала ранее ни в одной семье. Дошло до того, что Нурик решил по-настоящему приударить за мной и не отходил от меня ни на минуту в течение всего месяца, проведенного на море. Случалось, я даже пряталась от него, но, судя по его поведению, он не понимал этого, так как, разыскав меня, издали радостно кричал:

– Вот ты где! Потерялась?

Ему и в голову не приходило, что я избегала его общества.

Все дни напролет мы проводили вместе, валяясь у моря, играя в бильярд или теннис, обедали за одним столиком в длинной светлой столовой и бродили по темным аллеям меж тутовых и финиковых с переливающимися серебром листьями деревьев в зелено-голубом лунном свете.

Эльмира с Нуром оказались ассирийцами – переселенцами из Турции. Род их чудом остался на Каспии в 1949 году, когда Закавказье и Крым захлестнула волна послевоенных депортаций.

Очень скоро мы познакомились с Эльмириным женихом – красавцем Маратом, который регулярно (два раза в неделю) навещал невесту. Моя родительница серьезно переживала, когда приезд его заканчивался ссорой, озвучивая это следующим образом:

– Вот не из-за чего ведь ругаются! Не из-за чего! Как мы с твоим отцом – бывало, слово за слово, слово за слово! Да еще Сара свой длинный нос сунет! Вечно сядет на кухне, сухарики перед собой разложит и шепчет что-то, шепчет! – расходилась мама, забыв, что именно ее заставило вспомнить бабу Сару и моего отца. – И в тот же вечер мы обязательно переругаемся! Мне вот интересно, что она все-таки над этими сухарями чертовыми шептала! Хотя плевать теперь я хотела, что она там шептала, и слава тебе, господи, что в моей жизни все так сложилось, как сложилось!

Со временем мы побывали в гостях у Эльмиры с Нуром и, пообщавшись с их родителями – Раисой и Sommerом, испытали такое чувство, будто мы сто лет знаем этих людей. Я прекрасно понимала (хоть мне и было в ту пору четырнадцать лет), что дело неукоснительно и прямолинейно идет если не к свадьбе, то уж к помолвке точно. Спас меня в тот год от обручения с ассирийцем Нуром лишь своевременный отъезд в Москву. Однако и находясь на столь значительном расстоянии, семья предполагаемого жениха продолжала оказывать мне те знаки внимания, какие обычно делаются невесте. То пришлют посылкой мельхиоровые позолоченные чайные ложки, то непонятно из какого металла изготовленный кубок для вина, напоминавший мне всегда почему-то чашу Святого Грааля, которую я никогда не видела, как, впрочем, и все остальные жители земного шара. Никто не видел, но знают наверняка, что она существует. Одни говорят – она находится в Испании. Другие, возмущаясь и споря с первыми, утверждают – мол, она вовсе не в Испании, а на юге Франции. Третьи, опровергая версию и первых, и вторых, убеждены, что сия неприкосновенная реликвия находится в стране древних кельтов, в Ирландии. А четвертые, хватаясь от смеха за живот над первыми, вторыми и третьими, уверяют, что чаша Святого Грааля надежно припрятана далеко на Востоке, на вершине неприступной горы Мунсальвеш (т.е. горе Спасения), в дивном Святом храме. Однако она так до сих пор не обнаружена ни в Испании, ни на юге Франции, ни в стране древних кельтов – даже тот, кто решился на поистине героический подвиг и вскарабкался на вершину неприступной горы Спасения, не увидел на ней ни храма, ни, ясное дело, чаши. Так что мы не можем знать наверняка, что собой представляет таинственная и неуловимая чаша Святого Грааля – остается лишь фантазировать на этот счет.

В моем же воображении очередной подарок Нура казался точной копией настоящей чаши – в форме полуоткрытого гигантского тюльпана на короткой ножке, расширяющейся к основанию (круглой подставке).

Засим последовали пресловутые ложки – десертные, столовые... Однажды будущие родственники даже набор поварешек прислали – тоже мельхиоровых, позолоченных. Мы наперебой с мамой кричали им в трубку слова благодарности – они настаивали на моем приезде. Год мы кормили их обещаниями, но после того, как Нурины родственники прислали в подарок набор столовых, хоть и тупых мельхиоровых ножей (тоже, к слову сказать, позолоченных), мы поняли с родительницей, что шутить они не намерены, и эта последняя посылка вызвала у нас некоторое смятение чувств. Нельзя сказать, что, раскрыв коробку «под бархат», мы уж так сразу испугались устрашающего блеска тупых ножей на оранжевой атласной подкладке, но поняли одно – пришло время дать определенный ответ семье Нура. Либо от ворот поворот, либо согласие на их предложение, причем предвидя, что в последнем случае наше жилище и далее будет пополняться позолоченной домашней утварью. Однако никакого решения я так и не приняла – все вышло само собой, как, впрочем, и случается в подобных сложных жизненных ситуациях, когда судьба предоставляет тебе поначалу выбор, а потом все же выбрать ничего не дает – вмешивается и запикивает тебя, словно уже испачканный, но все же, вполне возможно, могущий впоследствии пригодиться носовой платок в карман.

Рок ли, фатум или фортуна (хоть все эти слова и считаются синонимами, они все же заключают в себе разные смысловые оттенки) сыграли со мной шутку – не знаю. Только спустя ровно два года после нашего знакомства с Нуровым семейством поехать летом мне было абсо-

лютно некуда. Впереди, проглядывая через залитую солнцем ярко-зеленую летнюю листву, мрел тяжелым камнем, раскачиваясь из стороны в сторону, словно маятник, новый учебный год, с каждым днем приобретая очертания все более четкие и ясные. Вильнул последними днями июнь, будто хитрая лиса, шмыгнув в бесконечную нору прошлого, в котором мы, люди, любим поковыряться и, выудив какое-нибудь воспоминание, прокрутить его в голове не один раз, словно заезженный диск с любимой мелодией, прежде чем снова выбросить кусочек прошлого в темную, кишмя кишевшую самыми разными событиями, чувствами, желаниями и мечтами давно минувших дней темную дыру. Посыпались туда же и первые дни июля, а родительница моя все работала, и отпуск ей был обещан окончательно и теперь уж бесповоротно только зимой...

– Нужно ведь ребенку отдохнуть где-то! – настаивала моя первая бабушка – Зоя Кузьминична, но сама ничего путного предложить не могла – лишь настаивала. А Нур, Эльмира, Раиса и Саммер продолжали звонить, приглашая нас в гости (особенно меня), и присылать столовые мельхиоровые приборы с золотым напылением. И мы рискнули. Рискнули не столько из-за того, что впереди, через залитую солнцем ярко-зеленую листву, мрел тяжелым камнем новый учебный год, а, пожалуй, чтобы угодить бабе Зое – она, бедняжка, совсем из сил выбилась, доказывая, что ребенку нужно хоть где-то отдохнуть.

Все уже было готово – билет на самолет куплен, клетчатый чемодан, собранный, стоял в коридоре, большая красная дорожная сумка из кожзаменителя была до отказа набита подарками – электрошашлычницей и пельменеделкой; острия шампуров вылезали сбоку, в незакрывшейся до конца «молнии», поражая воображение своими гибкими, длинными, словно клинки рапир, связанных где-то в глубине сумки крепкой веревкой, остриями. Они казались чрезвычайно воинственными. Но как раз, когда все было приготовлено к моему отъезду, когда мамаша протянула мне на все про все червонец, велел при этом тратить его с умом и не разменивать вовсе, если не возникнет особой надобности, и который я все же разменяла в дальнейшем, купив в захолустном магазинчике, уютно расположившемся посередине – между аулом на горе и раскинувшимся морем внизу, – стеклянный резной флакон дезодоранта, сделанный под хрусталь, с вызывающим цветочным запахом (за два рубля восемьдесят копеек), после чего долго, но тщетно стояла у прилавка, получив сдачу семь рублей и ожидая остальные двадцать копеек. Ждала молча и терпеливо, но через пятнадцать минут, поняв, что никто не собирается возвращать мне двадцать копеек, вышла, наконец, оттуда, чувствуя себя оплеванной, обманутой и оскорбленной. Если б я попала в такую ситуацию лет десять спустя, я, конечно, не стала молча ждать сдачи, я бы, несомненно, выразила вслух свое недовольство. Но тогда, в шестнадцать лет, как уже было сказано выше, я была слишком замкнута, чтобы высказать досаду и негодование совершенно незнакомому человеку, каким явился в тот момент для меня продавец дезодоранта, муки, душистого мыла и шафрана, в огромной круглой кепке, которая, казалось, могла бы запросто послужить взлетной полосой для летательных аппаратов, и огромным носом с горбинкой, что напомнила трамплин высокой крутой горы, с коей в детстве я, пренебрегая опасностью, со свистом стремглав летела вниз то на лыжах, то на санках. Оставшиеся деньги тратить я не рискнула и, к удивлению мамы, вручила их ей по приезду, боясь, что, купив какую-нибудь безделицу за пятьдесят копеек, не досчитаюсь рубля, и таким образом дебет не сойдется с кредитом, и финансовый отчет об истраченной десятке полетит в тартарары.

Так вот, когда я, бережно свернув червонец, убрала его в кошелек, щелкнув замком, бабушка № 1 выразила удивление, недоумение, а потом и протест по поводу того, что ребенок неизвестно зачем и не понятно к кому едет, бог знает куда:

– Что ж это такое! Говорила ведь зимой – Матрен, надо уже сейчас подумать о даче в Хаврюшкино, нужно договориться заранее о съеме на лето! У Дуни там и подруга живет! Как бишь ее зовут-то? А, Дунь?

– Люда, Люда ее зовут.

– Вот Людины родители поумнее тебя, Матрен, оказались – купили там домик, и у них каждое лето не болит голова, где бы ребенку их отдохнуть! А ты даже снять не могла в этом году. «Успеется! Успеется!» – передразнила она мою мамашу. – Вот летний сезон пройдет, я там тоже домик куплю! Сама займусь этим вопросом! Сама! – кричала бабушка – она была вне себя, но надо отдать ей должное – домик в деревеньке Хаврюшкино баба Зоя умудрилась приобрести спустя несколько месяцев за смехотворно низкую цену; в дальнейшем мы с Людкой стали соседями и проводили лето вместе, что еще больше укрепило нашу дружбу. – Кому только рассказать! Ее ж похитят! – причитая, продолжала возмущаться она, напрочь забыв, что идея о моем отдыхе принадлежала не кому-нибудь, а именно ей. – Не пушу! Ни за что! – вопила она, усевшись на собранный в дорогу клетчатый чемодан. Мама со злостью схватила красную сумку с воинственно выглядывающими из нее шампурами и, поставив ее рядом со мной на лестничную клетку, с силой вырвала чемодан из-под бабушкиного зада. – Дусенька! Свидимся ли еще? Как знать! Дусенька! – стонала баба Зоя, но, вероятно, не от разлуки со мной, а от неожиданного удара мягким местом об пол.

Мама яростно захлопнула дверь и, запихнув меня на заднее сиденье такси вместе с поклажей, сама расположилась рядом с водителем.

В аэропорту мы первым делом встали в очередь, дабы сдать багаж. И тут к нам подошел низенький человек в точно такой же огромной круглой кепке, какая красовалась на голове обманщика-продавца, не имеющего привычки давать сдачу, и длинным носом, загибающимся вниз, под самое основание густых иссиня-черных усов, похожих на перевернутую вверх тормашками омегу – букву, исключенную из русского алфавита в 1708 году, когда первый наш русский император Петр Великий произвел реформу печатного кириллического полуустава. Подошел и попросил оформить часть его багажа на мое имя.

– У вас всего два мест! – с некоторым удивлением воскликнул он и, гордо указав на свой багаж, вытянувшийся в длину метров на пять, и где не хватало одной только собачонки, которая, если б была, то за время дороги могла бы подрасти, если верить С.Я. Маршаку, добавил: – А у меня во сколько! Во! И это мое!

И он ткнул указательным пальцем на огромную коробку с телевизором,
кальян,
чемодан,
саквояж,
картину,
корзину,
картонку...

Не хватало лишь маленькой собачонки!

– А это что у вас? Киньжали? – спросил он, с любопытством уставившись на чрезвычайно устрашающие острия шампуров, и категорично заявил: – Не примут! Точно не примут! Это острый колющая предмета!

– Спасибо, что предупредили, – поблагодарила я незнакомца и вытащила из сумки шампуры. У родительницы моей в этот момент сердце сжалось, душа ее жаждала подвига, и она с радостью согласилась записать добрую половину чужого багажа на мое имя, дабы маленькому человечку в блинообразной кепке не пришлось платить за лишний вес своих вещей.

– Спасибо, спасибо, спасибо! – взхлеб повторял он – такое впечатление, будто устанавливал новый рекорд произнесения слова «спасибо» на скорость. Немного успокоившись, но все еще чувствуя себя нашим должником, он, внимательно оглядев меня с головы до ног, заявил восторженно, обратившись к маме: – Очень красивый у вас сестра! Очень! И не будь он такой косой, я бы женил на ней младшего сына! Спасибо! Спасибо! Спасибо! – торопливо пролепетал он и растворился в толпе.

– Я?! Я – косая?! – запинаясь, уж как-то слишком возбужденно терзала я мамашу, которую восточный человек, путаясь в окончаниях мужского и женского рода, принял за мою старшую сестру.

Она открыла было рот, но я метнулась от нее прочь и, подлетев к первому попавшемуся зеркалу, с беспокойством рассматривала свои очи, глядя то вправо, то влево, то фокусируя взор на носу. Успокоившись, что никакого косоглазия у меня не наблюдается, я обозвала незнакомца дураком (конечно, не вслух – я была слишком замкнутой и воспитанной девушкой, чтобы позволить себе произнести даже такое безобидное ругательство, как «дурак», во всеуслышание) и, воспользовавшись тем, что стою у зеркала, принялась рассматривать себя.

Нет, я никогда не приходила в восторг от своего внешнего вида!

Фигура у меня какая-то странная, будто все углы, которые существуют в геометрии – прямые, острые, тупые, – собрали воедино, и из них соорудили то, что (вернее, кто) называется Дуней Перепелкиной: колени, плечи, локти, бедра даже, не говоря уж о груди. Каждую часть моего тела наверняка можно измерить транспортиром, если бы, конечно, кому-нибудь пришлось в голову изготовить сей чертежный прибор размером в человеческий рост.

Лицо тоже несуразное, нелепое... Хотя все его черты по отдельности имели правильную форму – взять, к примеру, нос, или губы, или все те же глаза, которые окружающим кажутся косыми именно по той причине, что им нужно было бы смотреть на этот мир не с моей, а с чьей-то совершенно другой мордашки. Такое впечатление, что и нос перепрыгнул на мою физиономию с лица гречанки, жившей двадцать два века тому назад, и только и делал, что нюхал маринованный чеснок (излюбленное лакомство древних греков) в Пергамском театре. Губы хоть и не думали ухмыляться, казалось, постоянно чему-то загадочно усмеваются – подобно запечатленной Леонардо да Винчи в 1503 году улыбке Моны Лизы, которая и по сей день не дает покоя тысячам светлых умов мирового масштаба. Глаза, совершенно не подходившие ни к пшеничному цвету волос, отливающих на солнце золотом, ни слишком уж какой-то неестественно белой прозрачной коже, были темно-карими, но, надо заметить, не косыми. Густые золотистые косы, вероятнее всего, я унаследовала от бабушки № 2, что вечно сушились на батарее и прикалывались к ее голове в самых исключительных случаях. Сами по себе волосы удивительно хороши, но к моему лицу они совершенно не подходили, и ничего тут нельзя было поделать – ни «корзиночка», ни «рогалики», ни косы, повисшие параллельно моим необычайно маленьким ушам двумя толстыми канатами, ни распущенные – они мне совсем не шли. Если говорить о бровях, то они имели очень красивую форму «вразлет», но совершенно не гармонировали с остальными чертами лица. Я не раз думала о том, что физиономия моя – не что иное, как шуточный коллаж, воплощенный в жизнь самой Природой. Для завершения образа Натура заменила сидящее за столом с персиками девичье туловище кисти В.А. Серова костлявым угловатым телом танцовщицы, спрыгнувшей с одноименного полотна Пабло Пикассо, написанного им во времена увлечения его примитивизмом.

Сразу замечу, что мнение окружающих по поводу моей внешности коренным образом отличалось от моего собственного – они не считали меня уродиной, собранной будто бы из разных детских конструкторов на скорую руку. Не находили, что в меня уж совсем никто не может влюбиться, как думала я в то время, когда у сверстниц и одноклассников наступил период любовных записок, так называемой игры в «гляделки» и походов в кино. Мне, сидевшей у окна за второй партой, перед концом учебного года тоже пришло послание с последней парты третьего ряда у стены – от Вадика Петухова, где он признавался, что любит меня. Так и написал, выдрав лист из тетради по русскому языку:

«Перепелкина! Я тебя люблю.

Пошли после уроков гулять или в кено».

Гулять я с ним не пошла, о «кено» даже думать себе запретила, а после последнего урока, будто сорвавшись с цепи, полетела, как угорелая, домой. Я, конечно, не поверила хулигану

Петухову, ожидая от него какого-нибудь подвоха на прогулке или сидя на последнем ряду в темном кинозале, и все из-за того, что я вбила себе в голову, что я слишком страшная и в меня никто – даже Вадик Петухов – не может влюбиться. К подозрительности и неверию в моей душе примешалось еще одно очень странное, будоражащее и необъяснимое чувство – не могу сказать, что оно было мне неприятно: стоило только вспомнить конопатую наглую морду Петухова, как мне немедленно хотелось сделать что-то до крайности нелепое и в высшей степени глупое – например, выпрыгнуть из окна или закричать на всю улицу все равно что.

– Да никакая ты не косяя! У меня тоже так было в твоём возрасте, когда я, бывало, задумаясь и смотрю в одну точку, – утешила меня мама, крепко сжимая в руке «букет» из шампуров, и в этот момент объявили посадку на мой самолет.

Через полчаса я уже созерцала в иллюминаторе пышные, на вид созданные из тягучего воздуха то белые, то серые облака, героически снося пинки в спину, которыми пассажир, сидевший сзади, время от времени прищипоривал меня, будто побуждая к движению, яко упрямую, непослушную клячу. Я проклинала его в глубине души, пытаюсь сосредоточиться на судьбе юной Консуэло, я летела к морю, не ведая того, что еще помимо моря ждет меня на отдыхе и какой сюрприз мне уготовила судьба, снова достав меня из своего кармана, подобно носовому платку, дабы оставить на нем свой знаменательный след.

А еще через полтора часа, когда самолет приземлился и, проехав по взлетной полосе (не знаю, сколько метров), остановился, тот самый осел, что излягал ногами мою бедную спину, вдруг сказал мне на ухо – ехидно так:

– Девушка, а девушка! Кресло-то нужно было поднять!

В аэропорту, на высохшей земле с колючками и занятными, то там, то сям разбросанными нежно-лимонными цветками с тонким запахом и мягкими, словно плюшевыми, листьями с серебристым налетом, растениями стояли красавец Марат и Нур с оттопыренными крупными ушами.

Я обернулась – за мной, словно тень, неотступно следовал незнакомец, багаж которого был оформлен на мое имя. Получив саквояж, картину, корзину, картонку, он искрящимся взглядом посмотрел на меня и, сказав:

– Очень, очень красивый девушка! Жаль, что косой! – принялся пересчитывать свои поклажки.

Марат всю дорогу объяснял, почему в аэропорт меня не приехали встречать остальные члены семьи:

– Эльмира с Соммером на работе. Эльмира хотела отпроситься, но ничего не получилось. А Раиса поджидает тебя дома. Варит дохву, праздничную харирсу даже затеяла, хасыда уже готова и трехцветный пирог, – расписывал он, в то время как Нур глупо улыбался, пытаюсь вставить в его бурную речь хоть словечко.

Но Раиса встретила меня отнюдь не хасыдой. Она долго не открывала дверь, а когда наконец открыла, то предстала перед нами в грязном рваном халате, сжимая в левой руке большую жестяную банку из-под сельди иваси, в которую была налита белая масляная краска, а между верхней губой и носом она едва удерживала кисть.

– Дунночка! Мы тебя так долго ждали! Мы так рады тебе! Ты как солнышко появилась в нашем доме! – восторженно воскликнула она, и кисть с грохотом упала на пол. Однако радостная хозяйка занятие свое не бросила – ринулась к подоконнику и принялась с каким-то истеричным азартом за работу. – Подоконники крашу! – объяснила она, будто я этого сама не видела.

Через десять минут красавец Марат, ушастый Нур и я с разламывающейся спиной были вовлечены в покраску рам и подоконников.

И почему все, кто долго ждет меня, когда я наконец появляюсь, занимаются покраской стен или подоконников?..

* * *

Спустя месяц и десять дней после моего рождения меня, закутанную в бесчисленные пеленки и одеяла, запахнутую вдобавок в стеганный атласный «конверт», словно огромный кочан капусты, вывезли в коляске на улицу.

Конечно, никакого соседа, что строил мне глазки в родильном отделении, и в помине не было в два часа пополудни у второго подъезда пятиэтажного дома. Впрочем, ничего другого я и не ждала от этого крикливого петуха. Наверное, таращится сейчас из своей коляски на какую-нибудь лысую, с лицом, покрытым диатезной коркой, девицу (вполне возможно, старше себя). «Ну и наплевать – я тоже подыщу себе кого-нибудь! Вот только бы до песочницы добраться!» – так думала я, не подозревая, что в начале марта песочницы обычно пустуют.

Я попыталась оглядеться, оценить ситуацию, но, естественно, ничего не увидела, кроме тонкой талии моей родительницы, бывшей в облегающем фигуру демисезонном пальто изумрудного цвета, и книги, которую она держала в руках – она называлась «Основы конструирования верхней одежды». Скука! Я вдохнула холодный, совсем не весенний воздух, и от тоски, которая (что ни говори) была вызвана отсутствием у второго подъезда в два часа дня «настоящего мужика», завопила от обиды, несправедливости, наплевательского отношения со стороны (не знаю его имени) того, кто по халатности медицинского персонала хоть и недолго, но все же успел побывать сыном моей матери, а следовательно, моим молочным братом.

– Тшш, тшш, тшш, тшш! – Меня с большим энтузиазмом раскачивали из стороны в сторону – такое впечатление, что я еду в поезде: тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук. Эти «тук-тук» и «тшш, тшш» несколько утешили меня, я успокоилась и вскоре заснула. Долго ли я спала или совсем мало – не знаю, но мне приснился сон. Только теперь я поняла, что видение то было вещим.

Приснилась мне озаренная нежным розовато-оранжевым сиянием закатного солнца веранда. Над головой свисали налитые, тяжелые, янтарно-оливкового оттенка виноградные лозы. Дом. Одноэтажный, приземистый, с плоской крышей, побеленный, словно хата на украинском далеком хуторе. Открывается дверь, и мне навстречу выходит – он. Высокий, статный. Бронзовый загар его особенно хорош и контрастен со светлыми одеждами. Он смотрит на меня и молчит, будто что-то мешает ему говорить. А себя, себя я не вижу – лишь чувствую, что стою и точно так же не свожу с него взгляда. С его миндалевидных, искрящихся, насыщенно изумрудных (такого же оттенка, как демисезонное пальто моей родительницы) очей. Римский нос – крупный, правильной формы, с горбинкой. («Все-таки обладать римским носом куда лучше, чем греческим, который будто перепрыгнул на мою физиономию с лица эллинки, что жила двадцать два века тому назад, и с наслаждением вдыхал в себя пары маринованного чеснока, коим пропитался воздух в границах Пергамского театра», – заключила я во сне.) Дугообразные брови, приподнятые в удивлении, причем левая – заметно выше правой. Чуть припухлые, четко очерченные губы – не то что какие-то размазанные под носом, которые можно видеть у людей слабовольных и упрямых. «А может, греческий нос ничем не хуже, если он соразмерен с остальными чертами», – пришло в мою сонную голову. Именно! Соразмерно! Все в нем – в этом юноше – было гармонично, начиная с густых, волнами набегавших на чистый округлый лоб каштановых волос до ступней с пастельно-розовыми ногтями, что виднелись в открытых носках его сандалий. Он приоткрыл уста свои – видимо, мысль окончательно сформировалась в его уме и готова была вырваться наружу, но в этот момент я почувствовала резкий толчок, открыла глаза и увидела тусклое серое мартовское небо. Словно оно надвигается на меня. Осиная талия, фигура мамы, облаченная в демисезонное пальто изумрудного цвета, впрочем, как и книга под названием «Основы конструирования верхней одежды», исчезли бесследно. Мою коляску увлекло за собой синий «Москвич», зацепившись за спицу ее козырька боковым зер-

калом. Родительница, бросив увлекательнейшую книгу в снег, неслась за нами и что-то кричала, но что именно, было не разобрать из-за приличного уже расстояния между нами, рева двигателя и попутного ветра.

И тут произошло чудо – коляска сама вдруг отцепилась от зеркала (хотя – как знать? Может, кто-то невидимый десницею своей взял да и снял спицу с зеркала?) и, прокатившись еще метров десять, остановилась – «Москвич» завернул за угол дома и исчез.

Мамаша моя, конечно, не на шутку испугалась – лицо ее сделалось таким же серым и унылым, как небо, которое минуту назад стремительно надвигалось на меня. Моя же реакция на сие происшествие была непонятной. Сначала, ради приличия, я хотела было покричать немного, но потом передумала, закрыла глаза и решила еще поспать, дабы увидеть продолжение того волшебного сна про налитые солнцем янтарно-оливковые виноградные лозы и прекрасного принца, однако сон все не шел. Внезапно мне стало тепло – особенно ногам и спине – так уютно, так замечательно, что плакать совершенно расхотелось, спать тоже, а инцидент гонки с «Москвичом» был окончательно забыт. Только десять минут спустя, когда я ощутила сперва уютное тепло, а затем то неприятное чувство, которое нередко испытывают и взрослые люди, если едут, к примеру, куда-нибудь в поезде и спят на влажном, непросушенном (я бы даже сказала, мокрым совсем) белье, я поняла, что перепугалась больше моей родительницы. Лишь тогда я позволила себе завывать, подобно сирене, на весь двор.

Но все эти неприятности были сущим пустяком в сравнении с тем, что случилось потом – если быть точной, то уже вечером того же дня.

Невзгоды обрушились на нашу семью, словно прогнивший до основания потолок старого, обветшавшего дома.

Ближе к ночи матушке моей стало худо – поднялась температура и появилась нестерпимая, распирающая боль в области груди. Температура моего тела тоже решила подняться за компанию – одним словом, мы заболели. К полуночи, когда круглая луна за окном, будто совсем обезумев от зависти к дневному светилу, почти превратившись в солнце, ворвалась в маленькую комнату, раздражая меня своим металлическим светом и не давая заснуть, баба Сара наконец-то, прошныряв по Москве около пяти часов, откопала где-то знахарку, народную целительницу и гадалку в одном лице. Она влетела с висевшей на кончике длинного носа каплей (образовавшейся из-за мороза, отсутствия носового платка и повышенной бабкиной суетливости) так же нагло и почти обезумев, как светившая и не дававшая мне заснуть луна, волоком таща за собой дородную бабищу с глупой, непроницаемой, я бы даже сказала, идиотической физиономией, и провозгласила не без гордости:

– Это дохтурша – Варвара. Она все болести лечит! Порчи снимает! В бога верит. Слушай ее, Слада, и делай, что она скажет, – велела бабка и, громко шмыгнув носом (так, что капля пропала в левой ноздре и, поболтавшись в носоглотке, упала от безысходности и безвыходности в бабкин желудок), принялась с большим воодушевлением убаюкивать меня, то энергично притягивая к себе кровать, то отшвыривая ее к окну, пришептывая: – Людер-людер, людерка! Тютер-тютер, тютерка!

Слада повиновалась и полностью отдала себя в руки народной целительницы Варвары. Та настолько порывисто расстегнула рубашку на ее груди, что пуговицы разлетелись в разные стороны, достала из гобеленового, протертого до дыр ридикюля коробочку с длинными иглами и, не вымыв рук, приступила к исцелению болящей.

– Ух! – громогласно вскрикнула она, воткнув первую иголку ближе к подмышке моей родительницы.

– Ой! – взвилась пациентка. – Да вы что, с ума сошли?!

– Дура ты, Сара, – осуждающе проговорила Фрося, неожиданно появившись на пороге. – Вот чо ты творишь? – спросила она и вопросительно выкинула руку вперед.

– Сама простишка! – не растерялась та перед младшей сестрой, что в переводе с мордовского означало приблизительно «сама дура». – Иди отсюда, иди, пшик, пшик, – и, выдворив обидчицу, заговорила наисерьезнейшим тоном: – Терпи, Слада, терпи, я ее полдня по городу искаль! – Засим она вернулась к укачиванию: – Ай, Накулечка моя! Людер-людер, людерка! Тютер-тютер, тютерка!

– Хлоп! – Варвара, всадив вторую иглу, зашептала что-то быстро и неразборчиво. – Пш-пш-пш! Лю, лю, лю. Пш! Пш! Бабах! – И со всей силой с размаху вонзила очередную иглолку, навалившись на недужную своей тушей.

То ли последний укол был самым болезненным, то ли моя родительница усомнилась в способностях «дохтурши» излечивать все болезни, но вдруг мама как закричит:

– Ну-ка, пшла вон! Шарлатанка несчастная! Ишь, чего вздумала! Иголками меня протыкать!

– Ты, Матроша, здря так! Очень здря! – обиделась бабка, вознеся к потолку согнутый крючком указательный палец, который за несколько месяцев до моего рождения нечаянно прострочила вместе с простынею швейной машинкой. – Я ее полдня по городу искаль! Не может она плохой дохтуршей быть! Потиркает, потиркает, и все как рукой снимет!

– Я сказала – вон! Выдергивайте все свои иглолки и – вон! – Мамаша была вне себя. Я тоже заревела, решив, что ей сейчас, как никогда, требуется моя поддержка, хотя глупо, конечно, было в начале марта в минус пятнадцать градусов выходить на улицу в тонком демисезонном пальто и без головного убора, даже если у тебя осиная талия и роскошные, выросшие на двадцать сантиметров за время беременности, волосы.

К утру положение усугубилось – мама лежала на постели в полном бессилии. Я, надрывая голосовые связки, что было мочи поддерживала ее. В полдень в комнату ворвалась бабушка № 1, гремя судочками с завтраком, и, увидев больную, полыхающую огнем дочь и орущую внучку, опустила прямо в своем бутылочном с искрой пальто на постель, выпустив из рук кастрюли с манной кашей. Минуты две она просидела в глубоком раздумье, затем кинулась к телефону, набрала номер и громко проговорила:

– Катерина Ванна, я сегодня на работе больше не появлюсь. У меня тяжело заболела дочь! Да. Да! Нет! Пускай Наталья Григорьевна возьмет мою группу. Ничего страшного – не разломится! – После чего она вызвала «Скорую помощь».

– Мастит, – полчаса спустя, не колеблясь, определил молодой, но очень серьезный доктор в квадратных каких-то очках, осмотрев мамашину грудь, «изтирканную» народной целительницей. – Тяжелая форма. Срочная госпитализация. Вместе с младенцем. Собирайтесь, – резал он, как по живому.

– Как так? – Баба Сара подлезла к врачу, еще больше согнувшись, скукожилась вся так, что ростом стала не выше дубового стола, и оттуда, видимо, ощутила в полной мере незначительность своей роли перед дипломированным «дохтуром».

– Вот так. И побыстрее, пожалуйста.

– Сейчас, сейчас. Подождите меня, я сейчас, – вдруг засуетилась она и выпорхнула из комнаты.

Мы с мамашей уже лежали в машине «Скорой помощи», пухленькая медсестра в телогрейке, наскоро наброшенной на белый халат, хотела было закрыть дверцы, как из сугроба неподалеку от той самой лавки, на которой семь месяцев назад были разложены синие куры для ошипывания перед жаркой, потрясающие всех своей безжизненностью и тщедушием, вылетел черный суконный мешок внушительного размера, за ним взвился брезентовый – они мокро, тяжело упали на снег, и буквально из земли выросла или, лучше сказать, восстала сама баба Сара. Снова ее фигура исчезала в сугробе. Потом она, лихо перекинув брезентовый мешок через плечо, схватила черный свободной рукою и возопила:

– Подождитя! Погодит-тя! Меня на рынок довезитя! – Бабка бежала, спотыкаясь о свою ношу, но, добравшись до машины, с необыкновенной юркостью вскарабкалась вместе с мешками и села рядом с бабушкой № 1, которая пренебрегла своими обязанностями воспитателя старшей группы детского сада, решив сопроводить дочь с внучкой в больницу.

– Опять торговать? – поинтересовалась Зоя Кузьминична и с некоторым презрением взглянула на Сару, которая, если следовать нумерации, приходилась мне бабушкой № 3 после Фроси.

– Н-да, – легкомысленно ответила та, не заметив, а может, не желая обращать внимания на разные там пренебрежительные, оскорбительные или осуждающие какие-то взгляды. Она вытерла уголки рта большим и указательным пальцем, который согнулся крючком, потому что баба Сара пристрочила его (то ли по причине большого рвения, то ли по растерянности и невниманию, то ли потому, что куда-то уж очень спешила – как знать) к простыне за несколько месяцев до моего появления на свет. Жест этот был характерной ее привычкой, совершенно ненужный и ничего не значащий, разве что доказывал лишний раз бабкину боязнь, что кто-нибудь может увидеть ее (не дай бог!) с перепачканным лицом.

– Мы – «Скорая помощь», а не такси, – недовольно и несколько вызывающе проговорила медсестра. Бабка притихла, забилась в глубь салона.

– Да ладно, пускай. Все равно мимо рынка поедem, – отозвался шофер, и старуха снова уселась рядом с бабушкой № 1, гордо (насколько могла) выпрямив спину. Она неторопливо расвязала пуховый платок, расстегнула верхние пуговицы зимнего своего пальто, кем-то подаренного, с плешивым норковым воротником, засим последовало кофт пять – никак не меньше – все они тоже были расстегнуты... Наконец Сара добралась до крохотного кожаного мешочка на груди, который болтался рядом с алюминиевым крестом на коричнево-бежевой веревке или от торта, или от сырокопченой колбасы, принесенной Любой в штанах с мясокомбината, и ладанкой на точно такой же крученой веревке. Глубокая, словно прорезанная ножом морщина на лбу, напоминающая оттиск литеры «И», сделалась еще явственнее, видимо, от важности бабкиного намерения. Аккуратно, сконцентрировав на этом действии все свое внимание, Сара положила в него ключик, сильно затянула мешочек и принялась застегиваться – сначала пять кофт, пальто с выдавшим виды норковым воротником... наконец, она обмотала платок вокруг шеи, завязала его и успокоилась.

Надо сказать, что загадочный ключик, который хранился на сморщенной, не обласканной никем, девственной груди бабы Сары, отпирал не какую-нибудь там обыкновенную пресловутую дверь – нет! Сразу и не догадаться, какому замку принадлежал сей металлический стержень с особой комбинацией вырезов! Придется раскрыть очередной секрет нашего семейства, хотя, возможно, это и не было ни для кого секретом.

Не было ни для кого секретом, что Галина Андреевна, отвоевав семь лет тому назад клочок земли неподалеку от городской свалки, сразу же подумала о том, где хранить все то, что она с такой любовью, с таким рвением и самозабвением выращивает и охраняет ночами, исполняя роль пугала, отгоняя своим воинственным видом (на какой только она была способна) не имеющих ни совести, ни стыда воров, готовых без ее неусыпно следящего недремлющего ока ободрать огород подчистую, включая непоспевшую лесную землянику. Действительно, где можно хранить овощи до глубокой зимы, а то и до поздней весны? В Москве? Не имея балкона? В погребе, решила она и, недолго думая, вырыла под окном глубокую яму (настоящий погреб), устлала ее резиновыми ковриками какими-то, кусками линолеума, которые подобрала на неоценимой, изобилующей всем, чем надо (если, конечно, очень захотеть и приложить определенные усилия к этому хотению), свалке. Недели через три после того, как погреб стал наполняться огородными дарами, вышла одна неприятная история. Баба Сара рассказывала впоследствии, что никакая это не неприятная история, а просто «ошибка получилась». Однако ошибкой и неприятной историей то разбирательство по поводу незаконно

вырытого погреб на территории, принадлежащей государству, иначе как скандалом назвать было нельзя. Кто-то из тех самых соседей, которые знали друг друга как самих себя и которые с жаром и неопишным удалством отплясывали на свадьбе моих родителей, стирая набойки и ломая каблуки, нафискалил кому надо и куда надо – в письменном виде, однако ж – анонимно. На «сигнал» незамедлительно отреагировали. Приехала целая комиссия, погреб осмотрели со всех сторон, вытащив предварительно кабачки, пяти- и трехлитровые банки с помидорами и огурцами – одним словом, варения, соленья и прочие дары припомоечного участка; даже куски резины и линолеума были извлечены на поверхность. «Ликвидировать!» – вынесла приговор комиссия и собралась было удалиться с миром в свою контору, но влезла баба Сара, хоть ей и не известен был смысл сего режущего уха слова. Но она интуитивно почувствовала, что «ликвидировать» – это что-то очень скверное, гадкое, омерзительное даже и явно сказанное не в ее пользу. Старуха отчаянно сопротивлялась, пытаясь уточнить, почему ее вместительный, глубокий и надежный погреб нужно «ликвидировать». Услышав в свой адрес, что она – мелкая собственница, нарушившая закон, Галина Андреевна на следующий же день рванула к начальнику конторы – Ивану Ивановичу Кротикову и, просидев там до конца рабочего дня, так ничего и не добившись, наотрез отказалась покинуть помещение, грозясь провести ночь прямо там, на банкеточке, свернувшись калачиком (к тому же это куда как безопаснее и комфортнее, чем охранять недоспевшую лесную землянику). Начальнику ничего другого не оставалось, как пожертвовать своим драгоценным временем и рассмотреть дело о ликвидации погреб, выкопанного незаконным образом возле второго подъезда пятиэтажного дома.

– Нет! Это недопустимо! – сказал он, выслушав историю о клочке земли вблизи городской свалки, о том, что там растет, когда именно созревает и сколько в это вкладывается сил; о хулиганах, готовых выдрать все подчистую вместе с огородиком, и т.д., и т.п. Также ему были показаны многочисленные грамоты за отличную работу на Московском автомобильном заводе в течение сорока пяти лет непрерывного труда. – Не могу я вам этого разрешить! – отрезал он и, заглянув в паспорт, добавил: – Не могу, Галина Андреевна!

Тогда Галина Андреевна, не будь душой, попросила сначала воспользоваться телефоном и, позвонив домой, велела Любе немедленно отправляться на огород, сторожить урожай. Сама же свернулась на банкетке, всем своим видом показывая, что никуда уходить не собирается и остается тут на ночь. Иван Иванович плюнул и отправился домой. Придя утром на службу, он поразился, когда увидел вчерашнюю посетительницу, стоящую на коленях и возносящую горячие молитвы пустому углу. Потом припомнил, сообразил, что к чему, и спрятался в кабинете.

К вечеру, когда Галина Андреевна снова спросила разрешения у секретарши Зиночки воспользоваться телефоном, товарищ Кротиков не на шутку закручинился, поник как-то – одним словом, повесил нос на квинту.

Просительница же, напротив, воспрянула духом – сон на банкетке был крепким – это вам совсем не пребывание в постоянном напряжении, сторожа еще недоспелую лесную землянику! Днем любезная секретарша предложила ей чаю и даже поделилась своим бутербродом – плюс экономия какая! Ко времени полдника бабка сумела окончательно расположить к себе секретаршу Зиночку исключительно благодаря своему природному дару к устному народному творчеству, красочно и очень убедительно рассказывая о коварстве мужчин, ни с одним из которых она не была близка ни разу в жизни, зато отменно знала их поганую натуру по рассказам соседок, подруг и бывших ее сослуживиц по цеху Московского автомобильного завода. В результате чего ей снова перепала чашка чая с четырьмя печенюшками. И, сделав вывод, что в конторе не так уж плохо, баба Сара решила пожить тут некоторое время, а именно – продержаться до тех пор, пока Иван Иванович не переменит свое бесчеловечное решение о «ликвидации» (слово-то какое!) ее вместительного, глубокого и надежного погреб. И он его переменял! Переменял, испугавшись, что упрямая навязчивая старуха пропишется в его конторе навсегда, отбирая завтраки, обеды и полдни у секретарши.

– Ладно, – нехотя, через губу проговорил он. – Учитывая ваши заслуги, сорокапятилетний непрерывный стаж, грамоты... – Он замялся, чуть было не сказав в заключение «и вашу невероятную назойливость», – мы оставим за вами погреб. Пользуйтесь, но впредь без разрешения прошу вас ничего не возводить, не рыть и не занимать земли, принадлежащие государству.

Баба Сара рассыпалась в благодарностях и, покинув контору с некоторым сожалением – оттого, наверное, что ей больше не удастся провести ночь в более спокойной обстановке, чем шалаш собственного огорода, – на следующий же день занялась приятными хлопотами по присоединению некоего ящика к наружной стороне окна – для початых банок с консервированными огурцами и помидорами, кои поначалу извлекались из отвоеванного погреба и не помещались в круглом кургузом холодильнике.

– Балкона-то нет! Нужен ящичек! – упрямо вдалбливала она Любе.

– Бабка! Тебе ж запретили строить! – удивлялась младшая сестра.

– Ничего ты, Хрося, не понимаешь! Енто на земле запретили, а ящичек-то на весу будет. Енто совсем не возбраняется, – настаивала Сара и настояла на своем, в результате чего за кухонным окном вырос микробалкон, в который старуха умудрялась даже прыгать, дабы навести там порядок.

У крытого рынка, всегда напоминающего мне своей конструкцией цирк, бабка выкатилась со своими мешками из машины «Скорой помощи», а мы поехали в больницу.

* * *

Положение все усугублялось – матушке сделали операцию. В итоге у нее пропало молоко, и мое дальнейшее пребывание в больнице вместе с ней показалось лечащему врачу Карлу Павловичу Гугуревичу совершенно бессмысленным – почесав лысину согнутым мизинцем и втянув воздух в кривой, горбатый нос свой, словно молочный коктейль через трубочку, он между прочим распорядился:

– А ребенка-то можно домой отправить, – будто я была бандеролью.

После обеда за мной приехала бабушка № 1 (она снова пренебрегла своими обязанностями воспитателя старшей группы детского сада) и, взяв такси, доставила меня в целости и сохранности, передав с рук на руки бабушке № 2.

– Ой! Накулечка! – восторженно воскликнула та и уже, кажется, не слышала от радости того, что говорила ей Зоя Кузьминична.

А молвила она следующее:

– Завтра, Фрося, перед работой сходи на молочную кухню, возьми для Дуни молока и смесей.

– Да, да, да, да! – заверила ее сватья, полностью погрузившись в развязывание розовых лент на моем одеяле. – Лапотулечка моя! Ла-по-ту-ле-чка! – ворковала она.

– Фрося! Ты хоть знаешь, где находится «молочка»?! – И, не услышав в ответ ничего, кроме «тюттер-тюттер-тюттерка, людер-людер-людерка», бабушка № 1 выпалила адрес кухни, уточнив для ясности, что это в той самой «стекляшке» – магазине неподалеку от нашего дома, откуда в день выплаты последней заработной платы Любу со скандалом вышвырнули перед закрытием. И улетела в детский сад, торопясь приступить к обязанностям воспитателя старшей группы, к которым последнее время относилась каким-то уж совсем наплевательским образом и даже высказывала сомнение вслух – а не уйти ли и вправду на заслуженный отдых?

– Что-то холодно, – заметила баба Фрося, после того как перепеленала меня. Она дотронулась до батареи, на которой бесшумно сушились ее толстые, точь-в-точь такие же длинные, как у героини фильма «Приходите завтра», косы, правда, несколько запыленные и выцветшие от времени. – Чуть теплая, – пожаловалась она мне, с досадой покачав головой. – Но

ничего! Сейчас все четыре конфорки зажжем, и будет жарко-жарко! Дя? Дя? Моя лапотулечка! – Нечего сказать – находчивая женщина!

Минут через пять бабушка появилась в комнате, переодетая в белый халат, бросила взгляд на рулоны, на которых ничего, кроме красных и голубых треугольников с надписью «Молоко пастеризованное», нарисовано не было. Она настроилась на сверхурочную работу и, кажется, поставила варить клей на одной из включенных конфорок... Но что-то отвлекло ее от клея и рулонов с треугольниками – может, навязчивая мысль, внушенная ей каким-то мелким бесом, – и она снова покинула комнату. Из ванной донесся страшный грохот. Тишина. Снова грохот. Опять тишина. Громыканье тазов.

Минут через тридцать находчивая женщина выросла возле меня – лицо ее было красным и мокрым от слез, а руки, как обычно, пахли селедкой:

– Несчастливая девочка! Крошечка моя горемычная! Искусственница! – выла она. – Это как же? Как же это ребенку без материнского молока?! Я Димку до двух лет грудью кормила! – Она легла рядом со мной и горько заплакала. Я отвернула голову – от бабы Фроси нестерпимо разило бражкой. Мысль о сверхурочном труде была ею отвергнута и, кажется, напрочь забыта.

Вечером Зоя Кузьминична, придя к свахе, дабы напомнить, где находится молочная кухня, пришла в полнейший ужас и шок от того, что она увидела.

А предстала перед ее светлыми очами следующая картина. В непроглядной темноте, в удушающей духоте комнаты, на кровати вырисовывался черной горой неподвижный силуэт и раздавался размеренный ритмичный храп. Бабушка № 1 немедленно зажгла свет, чтобы избавиться от неприятного чувства неведения и от причудливых теней, которых дарит нам крошечная тьма, но лишь усугубила ситуацию. Итак, при электрическом ярком свете перед ней открылась сватья, спящая глубоким беспробудным сном в своем белом халате на кровати, разбросанные по полу раскатанные рулоны с красными и синими треугольниками и надписью «Молоко пастеризованное», перевернутая на попá кособокая кастрюля, кисть, лужа желеобразного, мутного, чуть желтоватого клея... Меня же не было нигде! Баба Зоя метнулась в кухню – там четыре конфорки жадно лизали воздух, изо всех сил стремясь добраться до потолка или хотя бы до стены, перекрашенной в бешеный васильковый цвет. Однако ж и в помещении для приготовления пищи меня не было! Зоя Кузьминична бросилась в маленькую комнату, где мы с мамой, собственно, и обитали, но и там меня не наблюдалось.

Тогда перепуганная воспитательница детского сада накинулась на сватью: трясла ее за кисти рук, щекотала пятки, стараясь разбудить и привести в чувство, но ни к чему это не привело. Только когда баба Зоя попыталась перевернуть непутевую свою родственницу с живота на спину, обнаружила она меня под ней, отшатнулась и, не помня себя, заголосила:

– Ох-хо-хо! Ое-ео-ой! Ребенка заспала, идиотка пьяная! Детоубийца! Что ж ты натворила?!

Своими нечеловеческими стенаниями Зоя Кузьминична разбудила бы мертвого, и, ясное дело, баба Фрося, продрав с трудом один глаз, села на кровати и, тупо посмотрев на сватью, промямлила:

– Накулечку согреть хотела.

– Да ты ж ее придавила! Ой! Да что же делать-то?

– Сара! Бабка! Где эта шлюха?! – спросила «пьяная идиотка», уверенная в том, что сестра Галина сумеет воскресить малютку. В этот момент я решила подать голос, чтоб утешить несчастных, убитых горем женщин.

– А-а-а! – засигнализировала я на весь дом.

– Хотя я вас, Зоя Кузьминична, уважаю и против вас ничего не имею, но вы паникерша и психопатка, – на радостях, что не заспала дитятко, заявила бабушка № 2, чувствуя себя победительницей.

– А ты, Фрося, недалекого ума баба! – вспыхнула воспитательница детского сада и, повторив, что молочная кухня находится не где-нибудь, а в том самом магазине с огромными окнами во весь этаж, откуда в день последней зарплаты Любу со скандалом вышвырнули перед самым закрытием, нахлобучив на лоб вишневым свой берет, связанный крючком ее подругой Комковой, именем своим которой была я обязана, строевым шагом пересекла комнату и, со злостью хлопнув входной дверью, поплелась на пятый этаж четвертого подъезда того же дома.

На следующее утро та бабуля, которая чудом не задавила меня насмерть, встала раньше обычного и, запив две таблетки анальгина чифирем, отправилась в «стекляшку» за детским питанием.

«Все. Я – искусственница. Ничего хорошего из меня в этой жизни не получится, – с отчаянием думала я, лежа в своей кроватке. – Вырасту хилой, болезненной, ни на что не годной!»

В то самое утро я осмыслила собственную неполноценность в результате недополучения материнского молока. Однако главное – не только понять, но и суметь это постигнутое однажды использовать в дальнейшем.

Тот факт, что я была вскормлена на всевозможных суррогатах материнского молока, я припоминала потом постоянно. Стоило мне схватить «пару» по математике, разбить дорогую вазу, порвать о гвоздь рукав нового, первый раз надетого пальто или растянуться на ровном месте, как я, не давая никому и рта раскрыть, кричала удивленно:

– Нет, а что вы от меня хотите?! Я – искусственница! Неполноценный ребенок, оторванный пяти недель от роду от материнской груди!

«...Искусственница, искусственница! Что вы от меня хотите? Почему после тяжелого перелета, пинаемая в течение двух часов чьими-то острыми коленками в спину, я должна красить ваши дурацкие рамы с подоконниками?!» – возмущалось все мое существо, в то время как кисть в руке плавно скользила вдоль стекла, боясь его испачкать, а лицо замерло в дежурной приветливой улыбке.

Да, я была слишком хорошо воспитана, чтобы заявлять чужим людям, хоть они и наделись со мной породниться, что я – искусственница. И вообще, кому это может быть интересно? Раисе, которая упорно называет меня «Дунночкой», несмотря на то, что мне это не по душе, – более того, злит и раздражает? Или красавцу Марату, который начал было красить подоконник с большим рвением, но через пять минут усвистел домой, сказав, что он оставил включенным обогреватель? Зачем, спрашивается, вообще трогать обогреватель, когда на улице стоит сорокаградусная жара и каблуки туфель остаются на раскаленном асфальте? (Замечу в скобках, что Марат с Эльмирой жили отдельно от ее родителей – а именно во дворе, в гараже дяди Соммера. Тот сразу же после свадьбы дочери продал машину и торжественно вручил ново-брачным ключи от их новой «квартиры». Молодожены выгребли оттуда весь хлам, который копился годами, сделали ремонт, по стенам расставили кое-какую мебель – скромно, но со вкусом – и, втащив широкую арабскую кровать, зажили себе припеваючи.) Или Нуру, может быть, интересно, что я была оторвана от материнской груди пяти недель от роду? Что-то непохоже! Он с таким неопишуемым наслаждением взялся за брошенный Маратом подоконник, будто не малярной работой был занят, а к небесам вознесся и увидел ангела.

От реконструкции окон меня спасло лишь появление Эльмиры – она набросилась на меня с радостными восторженными возгласами. Потом явился дядя Соммер – он хоть и не выражал столь бурно своих чувств, однако на его сдержанном красивом смуглом лице с темно-кариыми, как два сушеных финика, глазами, которое оттеняла белая, совсем седая, густая шевелюра, сквозила довольная улыбка, готовая вот-вот перерасти в смех. Во всем он такой – Соммер – уравновешенный, умеющий владеть собой в любой ситуации. Кажется, еще мгновение – и его сжатые, мало что говорящие по жизни губы разомкнутся, за чем последуют раскаты громового хохота или гневная обличительная тирада, разрушительный взрыв, искры молнии (в зависимости от обстоятельств). Но ничего подобного не происходило: взрыв, гром, молния, как и

обличительная тирада, проглатывались и пропадали где-то в глубине души – наружу выходило лишь многозначительное: «Да-а...».

Последним появился Марат – он якобы выключил обогреватель, и мы всей семьей (тут, кажется, все уже считали меня ее членом) уселись за стол. Раиса бегала из кухни в комнату с блюдами, тарелками, пиалами и стаканами. Она была недовольна мужем – какое-то его действие (не знаю точно, какое) привело ее в отчаяние, но моя будущая свекровь по обыкновению не подавала вида – губы ее как сложились в улыбке в момент моего появления, обнажив два заячьих передних зуба, так и застыли. Вообще она всегда улыбалась – даже когда бывала чем-то крайне недовольна. Улыбалась и молчала, затаив досаду и неудовольствие по поводу то взгляда, брошенного на нее, как ей показалось, косо, или (не дай бог!) слова, сказанного Соммером невпопад. Наверное, супруг ее и был немногословен оттого, что всю жизнь боялся обидеть Раису. И губы у него всегда сомкнуты, и все, что ему хотелось высказать жене своей, оседало, нарастая в душе, подобно накипи на стенках старого чайника. Такие между ними были отношения – и такая бывает любовь.

Наметав тарелки на стол, Раиса кинулась в спальню и через минуту вышла, считая себя самой красивой и неотразимой пятидесятипятилетней женщиной на всем Каспийском побережье. Она сняла платок – волосы ее, видимо, накануне моего приезда подверглись двадцатичетырехчасовой окраске хной (наверное, после этого в голову будущей свекрови и пришла мысль покрасить заодно рамы с подоконниками) и имели теперь ярко-оранжевый, неестественный цвет марокканских апельсинов. Брови и ресницы она густо начернила сурьмой, которая поставлялась сюда контрабандой из Турции, как и сверхстойкая химическая губная помада страшного зеленого ядовитого цвета в тюбиках, приобретающая на губах более или менее естественные для людей тона – розовый или нежно-абрикосовый. Стереть такую помаду в конце дня было практически невозможно – все равно, что эффект лазерной косметологии.

– Дунночка, Мирочка, Маратик! Давайте-ка за стол! Нурик, поухаживай за гостьей! Какой же наш Нурик еще ребенок! Нурик, ты ведь мужчина! – пристала она к сыну, который отодвигал для меня то один, то другой стул, так что я совсем растерялась и не знала, куда пристроить свой многострадальный зад, пинаемый за компанию со спиной два часа подряд в самолете. – Вы посмотрите! Какой цыпленок! Какой он у нас еще цыпленок! – восторгалась Раиса сыном. – Дунночка, не обращай на него внимания – он стесняется, садись рядом с Мирочкой.

– Ничего я не стесняюсь! – ломающимся голосом, варьирующим на все лады – от фальцета до баса, воскликнул он и, вскинув по-петушиному голову, уселся на соседний со мной стул.

«Противный он и не нравится мне совсем! Какой из него муж?! Глупость, да и только!» – думала я, ковыряя вилкой ярко-лимонный рис плова.

– А плов принято руками есть! – весело заметил Марат и, ухватив горстку рассыпных зерен большим, указательным и безымянным пальцами, закинул ее в рот, но поперхнулся и надолго закашлялся.

Покраснел.

Эльмира поколотила его по спине маленьким твердым костлявым кулачком. Не помогло – лицо Марата сделалось кумачовым.

Нур вскочил со стула и от души принялся дубасить шурина, питая к нему явную неприязнь, вызванную ревностью к сестре.

Соммер, будто и не происходило ничего, наложил себе в тарелку долму и хладнокровно «раздевал» одну из них от виноградного листа.

– Может, вызвать «Скорую»? – растерянно предложила я.

Раиса, улыбаясь, резала трехцветный пирог на прямоугольники.

– Выпей шербета, – беспокойно предложила Мира и подсунула мужу пиалу со светло-янтарным напитком. Мучительный кашель прекратился, оставив после себя слабое похрюкивание.

«Интересно, мы поедем сегодня к морю?» – гадала я, не подозревая, что от дома Соммера до побережья нужно добираться на автобусе остановок семь, а потом долго идти пешком по удушливой, пышущей даже вечером жаре. И что на пляже полно народу – в основном мужчин: они играют в футбол, поднимая столбом почти белый, искрящийся песок. Женщинам (и тем более девушкам) одежду снимать не пристало – это, мол, стыд, да еще какой – стриптиз настоящий! Слабый пол появляется на городском пляже, чтобы поболеть за команду брата, мужа или отца, ну, в крайнем случае, полюбоваться незначительными, набегающими на брег волнами, на бескрайнюю водную стихию, сплошь покрытую радужными нефтяными разводами.

– Да и купаться-то там противно! Такое впечатление, что в мазуте плаваешь! – воскликнула Мира, отвечая на мой нелепый вопрос, который я все-таки произнесла вслух (не удержалась и спросила: «Поедем ли мы сегодня к морю?») – Если хочешь ополоснуться, пошли к нам – мы пристроили к гаражу душевую кабинку.

Стало быть, я летела за тридевять земель, дабы ежедневно ополаскиваться в душевой кабинке, пристроенной к гаражу, вместо того чтоб рассекать Каспийское море то брассом, то на боку, то баттерфляем – тем стилем плавания, который я долго отшлифовывала в бассейне под чутким руководством Павла Захаровича, моего тренера, лысого, длинного, с выпученными глазами, выражающими всегда одно и то же – недовольство. Кролем я пренебрегала, не видя в нем, кроме фонтана бессмысленных брызг и выбрасывания рук, словно на голосовании, никакой красоты. Не то что баттерфляй! Этот стиль мне казался почти искусством: находясь под водой, важно не только не задохнуться, но и провести там столько времени, сколько хватило бы на выписывание полукруга руками и лягушачьего толчка ногами! На море же я мечтала довести этот вид плавания до совершенства. «Неужели мне это не удастся?» – с ужасом подумала я, и на лице тут же отразилось недовольство, беспокойство и отчаяние. Моя физиономия имела способность выражать все, что происходило в моей душе, в голове и в сердце. Вечная улыбка Джоконды тут же сменялась надутыми губами капризного своевольного Купидона, во взоре появлялась суровость и неприязнь – взгляд такой близкие обычно называли тяжелым или говорили иногда: «Ну прямо рублем одарила...»

– А ты хочешь к морю? – спросила Эльмира, заметив перемену в моем настроении.

Еще бы!

Да. Я хотела к морю! Я жаждала увидеть ту линию вдаль, где небо сходится с землей, ту порой пугающую, порой вызывающую восторг, спокойствие и умиротворенность водную бесконечную стихию, куда можно нырнуть с головой, оставив на поверхности все невзгоды, печали и даже неприятные воспоминания по поводу мреющего впереди тяжелым камнем, раскачивающимся из стороны в сторону, словно маятник, нового учебного года. Но не только это я стремилась увидеть и почувствовать. Еще что-то меня манило, притягивая, как булавку к магниту, к величайшему озеру Земли (хотя я не поддерживаю мнения некоторых, что Каспий – это озеро, так как по своим размерам, характеру процессов и истории развития это самое что ни на есть море) – что-то такое, что находилось в непосредственной близости с ним. А может, не что-то, а кто-то? Но тогда я не задумывалась об этом. Лишь подсознательно, на уровне интуиции, я ощущала это, и при одной только мысли о горько-соленой воде во мне все переворачивалось, трепетало, пульсировало, будто я предчувствовала впереди светлое, большое, новое, неизведанное чувство.

– Может, Дунночку отвезти к твоим родителям, Марат? – вмешалась Раиса – ей всегда хотелось кому-нибудь угодить, даже если этот кто-нибудь относился к ее «угождению» нетерпимо.

Помню, Рая как-то предложила дочери постирать их с Маратом постельное белье.

– Нет, мама, я сама постираю, – вежливо ответила Эльмира.

– Ах! Доченька, мне это совсем не трудно. Ты иди, я замочу.

– Не стоит, мама, – процедила доченька.

– Да отчего же не стоит, когда мне это совершенно не тяжело! Иди к Маратику, я выстираю.

– Мама! Я сама! – выходя из себя, но все же сдерживаясь из последних сил, прикрикнула Эльмира.

– Мирочка, мне доставит радость, что я освобожу тебя от этого неблагодарного занятия! Ступай к Маратику. – И она нетерпеливо принялась вытряхивать из тюка наволочки, простыни и пододеяльники.

– Я тебя об этом не прошу! Оставь в покое наше белье! Или я пойду стирать к соседям! – взорвалась, наконец, Эльмира.

– Но почему же сразу к соседям? – Мамаша поражала своей несообразительностью и упертой настойчивостью в желании помочь. – Зачем к соседям, когда есть я? Я все сделаю, иди к Маратику!

Дочь не выдержала – собрала в простыню белье, со злостью завязала узел и помчалась в пристроенную к гаражу душевую кабинку, где стирать было крайне затруднительно, несподручно – воды там мало, только та, что в баке. Можно было, конечно, при большом желании перестирать весь тот тюк, который Мира со злостью схватила и поволокла в кособокую кабинку душевой, но возможности отполоскать не было. Так и пришлось вешать его на уличную веревку, протянутую через весь двор от иберийского дуба к благородному каштану на всеобщее обозрение и осуждение (потому что соседи здесь с чрезвычайной скрупулезностью рассматривали и оценивали чистоту чужого белья, раздуваемого подобно парусам сильным северным ветром Апшеронского полуострова), все в мыльных от порошка пузырьках.

Раиса в растерянности развела руками, с недоумением глядя на захлопнувшуюся с грохотом входную дверь. Потом затаила, видать, обиду на дочь – замолкла. Два заячьих передних зуба обнажились, на лице снова появилась блаженно-издевательская, наполненная равнодушием улыбка, продержавшаяся до глубокого вечера, точнее, до того момента, когда она, отвергнутая со своей навязчивой помощью, сомкнула глаза и заснула беспробудным сном.

И к чему нужно было с таким рвением и упорством предлагать свои услуги? Тем более что в них не нуждались! Их сторонились и избегали по каким-то причинам. Действительно, мало ли что там могло быть! – на белье молодых людей? Ясно одно – ни под каким видом это «что-то» не должно было открыться взору навязчивой мамыши, а то бы с чего Мира с такой решительностью и раздражением шарахнула входной дверью и удалилась в кособокую душевую отстирывать наволочки с простынями и вешать их мыльными на веревку между благородным каштаном и иберийским дубом? Для пересудов и сплетен соседей? Не думаю.

– Мои только обрадуются приезду Дуняши! И до моря от нашего дома рукой подать! И пляж безлюдный, дикий – никто пляться не будет! Дунь, поедешь? – все еще покашливая, спросил Марат.

– Да! – восторженно отозвалась я. Как можно было отказаться от такого предложения? Я и прилетела-то сюда вовсе не для того, чтобы укрепить отношения с цыпленком Нуром – я хотела отработать и довести до совершенства свой баттерфляй, рассекая соленую воду Каспия, чтобы по приезде в Москву блеснуть перед Павлом Захаровичем. Чтобы его выпученные глаза выразили наконец не раздражение и досаду, а что-то другое. Восторг, например. Хотя нет, мой тренер на восторг не способен – скорее всего я испытаю под его взором либо чувство глубокого удовлетворения – мол, не пропал напрасно мой труд – из этой девицы, может, и получится что-то путное. Или, быть может (что очень даже вероятно), выпученные глаза его так и останутся недовольными, с той лишь разницей, что недовольство это будет нести в себе совершенно иной оттенок и смысл – глубокую, злобную зависть. Вот что оно будет в себе содержать! «Как это

так?! И что это за хамство такое? Эта соплюшка плавает баттерфляем лучше меня! Находясь под водой, она не задыхается – ей хватает времени, чтобы сделать полукруг руками и лягушачий толчок ногами, и при этом никакой прежней ненужной размашистости в движениях – все точно, синхронно! Вот мерзавка!» Наверняка все это пронесется в лысой голове Павла Захаровича. Я в этом не сомневалась, потому что всерьез намеревалась заняться плаванием в настоящей водной стихии, а не в каком-нибудь там хлорированном плевке Левиафана.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.